

ЕВА ВЕРЕСОВА

Сало — на таможне. Зять — напрокат. Мама — в Дубае!



Тёща в Дубае

Ева Вересова
Тёща в Дубае

«Автор»

2026

Вересова Е.

Тёща в Дубае / Е. Вересова — «Автор», 2026

Мне шестьдесят четыре года. Я сорок лет проработала фельдшером в деревне Большие Кочки Костромской области: принимала телят и роды, лечила всю округу и мужа — словом. Дальше Костромы я не ездила ни разу. А тут дочка звонит: «Мама, приезжайте с папой на Новый год. Ко мне. В Дубай. И с женихом познакомитесь». С женихом! Тридцать четыре года девке — и наконец-то. Билеты мы с Колей купили. Сало я зашила в наволочку. Баян Коля взял сам — сказал, без баяна Новый год не Новый год. Валенки положила — мало ли. Кто же знал, что в Дубае лифт в самом высоком доме мира едет быстрее, чем Коля ругается, рыбу ловят вместе с шейхами, а жених у дочки — не тот, за кого себя выдаёт? Я сорок лет замужем. Я вижу, когда мужик врёт. Этот — врёт. Только почему-то на мою дочку он смотрит так, как Коля на меня в восемьдесят шестом году.

© Вересова Е., 2026

© Автор, 2026

Ева Вересова

Тёща в Дубае

Ева Вересова
Тёща в Дубае
Новогодняя комедия

Аннотация

Мне шестьдесят четыре года. Я сорок лет проработала фельдшером в деревне Большие Кочки Костромской области: принимала телят и роды, лечила всю округу и мужа — словом. Дальше Костромы я не ездила ни разу.

А тут дочка звонит: «Мама, приезжайте с папой на Новый год. Ко мне. В Дубай. И с женихом познакомитесь».

С женихом! Тридцать четыре года девке — и наконец-то.

Билеты мы с Колей купили. Сало я зашила в наволочку. Баян Коля взял сам — сказал, без баяна Новый год не Новый год. Валенки положила — мало ли.

Кто же знал, что в Дубае лифт в самом высоком доме мира едет быстрее, чем Коля ругается, рыбу ловят вместе с шейхами, а жених у дочери — не тот, за кого себя выдаёт?

Я сорок лет замужем. Я вижу, когда мужик врёт. Этот — врёт.

Только почему-то на мою дочку он смотрит так, как Коля на меня в восемьдесят шестом году...

Часть первая. Мама, мы вас ждём!

Глава 1.

В которой нас зовут в Дубай

В Больших Кочках интернет ловит в двух местах: на крыльце магазина и на горке у церкви.

На горке — лучше. Там видно лицо. А на крыльце магазина видно только лоб и потолок, и то если Люба не включит обогреватель, потому что, когда Люба включает обогреватель, у неё в магазине вышибает пробки, а вместе с пробками — и роутер.

Поэтому по воскресеньям я хожу на горку.

В час дня. По московскому. Потому что у Светочки в Дубае в это время — десять утра, она уже проснулась, позавтракала и ещё не убежала на работу. Работа у неё и в воскресенье. Там, в Дубае, воскресенье — не воскресенье. Там выходные какие-то не такие. Я двенадцать лет не могу запомнить какие. Светочка объясняла — я кивала. Потом Коля спрашивал — я говорила: «У них там всё не как у людей». Коля говорил: «Ну». И шёл к трактору.

Коля вообще много говорит «ну». Это у него вместо целой речи.

* * *

Четырнадцатого декабря на горке было по колено снегу.

Я шла по тропинке, которую утром протоптал батюшка, отец Сергей, — он к заутрене ходит в шесть, в любую погоду, — и проваливалась. Валенки у меня высокие, Колиной работы — он их сам подшивает, — но снег всё равно набивался сверху. Тёплый такой снег, мягкий, пушистый, какой бывает только перед Новым годом, когда мороз ещё не взялся, а зима уже пришла.

Деревня внизу дымила трубами. Шестьдесят дворов. Сорок восемь жилых. Сто сорок человек, если считать с дачниками, а дачников зимой — четверо. Остальные — свои. Я их всех лечила. Кого — от простуды, кого — от давления, кого — от запоя, кого —

от дури. Сорок лет. Я в Больших Кочках фельдшер с тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. ФАП у нас закрыли пять лет назад — «оптимизация». Я вышла на пенсию. А лечить не перестала. Ко мне всё равно идут. Кто с чем. Бабка Нюра — с коленкой. Дед Митрич — с похмелья. Корова Зорька — у Шишкиных — с отёлом. Я и корову лечу. Мне не жалко.

На горке, у старой липы возле церковной ограды, я встала, отряхнулась и достала телефон.

Телефон у меня — Светочкин. Она мне его в прошлом году прислала посылкой. Большой, плоский, с яблоком на спине. Я сначала боялась его трогать — думала, разобью. Потом привыкла. Теперь я в нём и фотографирую, и рецепты читаю, и даже смотрю, что в мире делается. Люба меня научила. Люба в магазине целый день сидит в телефоне, она у нас главная по связи.

Я нажала на зелёное.

Телефон подумал. Покрутил колёсиком. Пискнул.

И на экране появилась Светочка.

* * *

— Мама!

— Светочка!

— Мам, ты опять на горке? У тебя за спиной церковь. И снег. Ой, мам, какой снег! Покажи!

Я повернула телефон. Показала снег. Деревню. Трубы. Дымок. Речку Кочку — подо льдом, белую. Лес за речкой — тёмный, в инее.

— Ой, мам, — сказала Светочка. Тихо так. — Ой, как красиво.

Я повернула телефон обратно.

Светочка сидела на балконе. На каком-то высоком балконе — за ней было небо, голубое-голубое, как у нас в мае, и вода, синяя, и белые дома, высокие, как спички, натканные в коробку. И пальма. Прямо у неё за плечом — пальма. В кадке. Настоящая.

Светочка была загорелая. В белой маечке. Волосы — светлые, длинные, распущенные, как у русалки. Очки тёмные — на лбу. Красивая. Вся в меня, только тоньше. Я в её годы тоже была тонкая. Это потом — пироги.

— Мам, — сказала Светочка. — Мам, а папа где?

— Папа снег чистит. У бабки Нюры. Ей крыльцо завалило.

— Ой. — Светочка помолчала. — Мам. Мне надо вам кое-что сказать. Вам обоим. А папы нет.

У меня сердце ёкнуло.

Сорок лет фельдшером. Я по голосу слышу, когда что-то не так. Когда человек звонит и говорит «Галина Петровна, тут у нас такое дело» — я уже по «такому делу» понимаю: роды или пожар.

У Светочки голос был — как будто роды.

— Что такое? — сказала я. — Говори. Я папе передам.

Светочка сняла очки со лба. Покрутила в руках.

— Мам, — сказала она. — Приезжайте ко мне. На Новый год.

* * *

Я сначала не поняла.

— Куда — к тебе?

— Ко мне, мам. В Дубай.

— В Дубай?

— В Дубай.

— Нам?

— Вам. С папой.

Я стояла на горке. С телефоном. В валенках. И смотрела на Светочку. На её балкон. На пальму у неё за плечом. На белые дома.

— Света, — сказала я. — Ты что, перегрелась?

— Мам!

— Какой Дубай? Мы с папой дальше Костромы не были. Я в Москве была — один раз. В восемьдесят девятом. На курсах повышения квалификации. Три дня. Я там в метро заблудилась и плакала на станции «Комсомольская». Меня милиционер до общежития довёл.

— Мам, я знаю, ты рассказывала.

— А папа вообще в Москве не был. Папа говорит — «чего я там не видел».

— Мам. — Светочка наклонилась к экрану. Глаза у неё — Колины. Серые. Упрямые. — Мам. Я вам билеты куплю. Туда и обратно. Из Москвы. Вы только до Москвы доберитесь. Я встречу. Тут жить у меня будете. У меня квартира — две комнаты. Одна — ваша. — Пауза. — Мам. Я вас двенадцать лет не видела.

Это была правда.

Двенадцать лет.

Нет, мы видели. По телефону. Каждое воскресенье. На горке. Я её видела загорелую, в маечках, на балконах, на фоне моря, на фоне каких-то дворцов. Она меня — в шубе, в валенках, на фоне церкви.

А чтобы вот — руками потрогать — двенадцать лет.

Она уехала в восемнадцать. В Москву. Учиться. Потом работала там. Потом — шесть лет назад — в Дубай. Сказала — работу предложили, хорошую, в гостинице. Сказала — на год. Год прошёл. Потом ещё один. Потом она сказала — «мам, мне тут нравится». И всё.

Приезжать — не приезжала. То работа. То деньги. То виза. То ещё что-то.

Я не обижалась.

Ну — обижалась. Немножко. Но не говорила. Чего говорить? Дети вырастают. Улетают. Как птицы. Ласточки вон тоже — улетают. А весной — возвращаются. А Светочка — не возвращалась.

— Мам, — сказала Светочка. — Мам, ты плачешь?

— Это снег, — сказала я. — В глаза попал.

— Мам. — Светочка помолчала. — И ещё одно.

— Что?

— У меня... — Она опять покрутила очки. — Мам, у меня жених.

* * *

На горке стало тихо.

Даже ворона на липе — замолчала.

— Жених? — сказала я.

— Жених.

— Настоящий?

— Мам!

— Ну а что, — сказала я. — Ты мне в позапрошлом году про Вадима рассказывала. Что он хороший, что машина у него, что бизнес. Я уж думала — всё, свадьба. А потом ты — раз — и молчок. Я спрашиваю — «как Вадим?» — а ты — «мам, давай не будем».

— Это другой, — сказала Светочка. Быстро. — Совсем другой. Его зовут Дмитрий.

— Дмитрий, — повторила я.

— Дмитрий. Он... он бизнесмен. У него... у него своё дело. Тут. В Дубае. Он русский. Хороший. Очень. Он вас ждёт. Он хочет познакомиться. — Она говорила быстро-быстро. Как будто боялась, что я её перебую. — Мам. Он сделал мне предложение. И я сказала — сначала с родителями. Познакомлю. На Новый год. Вот.

Я смотрела на неё.

Сорок лет фельдшером. Сорок лет замужем. Я вижу, когда человек врёт.
У Светочки уши — покраснели.

Это у неё с детства. Когда она в шесть лет съела у бабки Нюры клубнику с грядки и сказала, что это дрозды, — у неё уши горели, как фонарики.

Но она была далеко. В Дубае. На балконе. Под пальмой. И экран у телефона маленький. И солнце у неё там — яркое. Может, это от солнца.

От солнца.

Конечно.

— Ой, — сказала я. — Ой, Светочка. Ой, доченька.

И заплакала.

Уже по-настоящему. Не от снега.

* * *

С горки я спустилась через полчаса.

Не помню как. Валенки сами шли. Снег набивался — я не замечала.

Я думала.

Тридцать четыре года. Тридцать четыре! Девке — тридцать четыре! У Любы дочка — в двадцать два внуков нарожала, троих. У Шишкиных — в девятнадцать замуж выскочила. У бабки Нюры внучка — в двадцать пять. А моя — тридцать четыре, и всё одна, одна, одна. В этом своём Дубае. Среди пальм. Я уж ночами не спала. Думала — ну как же она там. Одна. Кто ей супу сварит, если заболит? Кто ей скажет — «Светочка, оденься теплее»? Хотя там тепло. Там всегда тепло. Она говорит — «мам, тут зимой плюс двадцать пять». Я говорю — «ну и что, всё равно оденься».

А теперь — жених.

Дмитрий.

Бизнесмен.

Хороший.

«Мам, он вас ждёт».

Я шла и улыбалась. Как дура. Мне навстречу Митрич ехал на санках — к Любе за хлебом. Посмотрел на меня. Остановился.

— Петровна, — сказал Митрич. — Ты чего лыбишься? Пенсию прибавили?

— Митрич, — сказала я. — Митрич, у Светки жених.

Митрич упал с санок.

* * *

Магазин «Продукты» стоит в центре Больших Кочек. Напротив клуба. Деревянный, синий, с крыльцом и с вывеской, которую нарисовал ещё Любин покойный муж Толя, — буквы кривые, «Продукты» через «а» — «Продакты», — Толя был не очень грамотный, но рисовал хорошо, и исправлять никто не стал.

Внутри — Люба.

Люба — моя подруга. Сорок лет. Мы с ней вместе в восемьдесят шестом приехали в Кочки — я фельдшером, она продавщицей. Обе после училища. Обе — молодые, глупые, весёлые. Она за Толю вышла. Я — за Колю. Толи уже нет — восемь лет. Коля — есть. Люба говорит — «тебе повезло, Галка, твой молчит, а молчаливые живут дольше».

Люба знает всё.

Не потому, что спрашивает. Потому что к ней все приходят за хлебом. И рассказывают. И потому, что у неё в магазине — роутер. И потому, что, когда кто-нибудь из деревни звонит по видео с крыльца, Люба сидит за прилавком, у самой двери. И слышит.

— Галка, — сказала Люба. Не успела я войти. — Галка, это правда?

— Что?

— Что Светка замуж выходит? За шейха?

Я остановилась на пороге.

— За какого шейха?!

— Ну, Митрич сказал, — сказала Люба. — Он сейчас тут был. Прибежал, весь в снегу. Сказал — у Петровны Светка за шейха выходит. Она с горки шла — улыбалась. Он сказал — так только за шейхов улыбаются.

— Не за шейха, — сказала я. — За Дмитрия. Он русский. Бизнесмен.

— А-а-а, — сказала Люба. И подумала. — Ну, это почти шейх.

* * *

Через час знала вся деревня.

Через два — соседние Малые Кочки.

К вечеру — районная больница в Судиславле. Мне оттуда позвонила Зинаида Аркадьевна, главврач, мы с ней на курсах вместе были. Сказала: «Галина Петровна, поздравляю, я слышала, ваша Светлана выходит замуж за нефтяного магната». Я сказала — «за бизнесмена». Она сказала — «а это не одно и то же?»

Я не знала.

* * *

Коля пришёл в шесть.

С лопатой. Весь в снегу. Усы — в инее. Шапка — набекрень. Валенки — по колено белые.

Он поставил лопату в сени. Снял шапку. Стряхнул. Снял валенки. Поставил на печку сушиться. Снял ватник. Повесил на гвоздь.

Вошёл в избу.

Я стояла у стола.

Коля — это Николай Иванович Морозов. Шестьдесят семь лет. Он высокий — метр девяносто, в дверь пригибается. Худой — всю жизнь. Я сорок лет его кормлю — и всё худой. Говорит, у него «конституция». Усы — седые, пышные, как у моржа. Глаза — серые. Руки — огромные, в мозолях, в шрамах, в мазуте, который не отмывается с тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, когда он сел на первый трактор.

Он с семьдесят восьмого года на тракторе. Пятнадцать лет — в колхозе «Рассвет». Потом колхоз закрыли. Потом — ещё двадцать три года у фермера, на том же тракторе, пока фермер не разорился. «Рассвет» кончился. Коля говорит — «рассвет кончился, а мы остались». Теперь он чинит всем в деревне всё. Трактора, машины, телевизоры, крыши, заборы, бабкины кофемолки. И ловит рыбу. В Кочке. Летом — с лодки, зимой — со льда. И играет на баяне.

На всех свадьбах района. Сорок лет.

На нашей — тоже играл. Сам себе. Я ему говорю — «Коля, это же наша свадьба, сядь, поешь». А он говорит — «Галя, кто ж тогда играть будет?» И играл. До утра.

Коля посмотрел на меня.

На стол.

На столе стоял пирог. С капустой. Мой. Праздничный. И бутылка наливки. Вишнёвой. Тоже моей. С прошлого лета.

Коля посмотрел на пирог. На наливку. На меня.

— Ну? — сказал Коля.

— Коля, — сказала я. — Коля, садись.

Коля сел.

Я налила ему наливки. Себе — тоже. Положила пирога.

Коля смотрел на меня. Молча.

— Светочка звонила, — сказала я.

— Ну.

— Она нас зовёт. На Новый год. К себе.

— Ну.

— В Дубай.

Коля замер.

Рюмка с наливкой — на полпути ко рту.

— В Дубай, — сказал Коля.

— В Дубай.

— Это где верблюды?

— Это где верблюды.

Коля медленно поставил рюмку. Не выпил.

— И ещё, — сказала я. — Коля. У неё жених.

Тишина.

Часы на стене тикали. Ходики. С кукушкой. Кукушка у нас сломанная — вылезает, а не кукует. Коля сто раз собирался починить. Всё никак.

Коля смотрел на меня.

Долго.

Я ждала.

Сорок лет. Я знаю этого человека сорок лет. Я знаю, как он молчит. У него молчание — разное. Есть молчание «ну и ладно». Есть молчание «сейчас скажу». Есть молчание «не трогай меня, Галя». Есть молчание «я тебя люблю, только отстань».

Это было — новое.

Я его не знала.

— Жених, — сказал Коля.

— Дмитрий. Бизнесмен. Русский.

— Ну.

— Он нас ждёт. Хочет познакомиться.

Коля молчал.

Потом взял рюмку.

Выпил.

Поставил.

Взял пирог.

Откусил.

Жевал. Долго. Как корова. Медленно. Глядя в окно. На снег.

Я ждала.

— Подумаем, — сказал Коля.

И пошёл спать.

В шесть вечера.

* * *

Я не спала.

Я лежала на печке — у нас с Колей кровать, но зимой я люблю на печке, там тепло, там спина не болит, — и смотрела в потолок.

Потолок у нас — деревянный. Тёмный. Сорок лет. Я на нём каждый сучок знаю. Вон тот — как заяц. Вон тот — как Брежнев. Вон тот — как Светочка в пять лет, когда она упала с велосипеда и разбила коленку и ревела, а я ей мазала зелёной и дула.

Двенадцать лет.

Я её двенадцать лет руками не трогала.

А Коля — «подумаем».

Чего тут думать?

Ну — далеко. Ну — страшно. Ну — денег нет. Ну — самолёт. Я в самолёте никогда не была. Коля — тоже. Ну — заграница. Ну — паспорта.

Паспорта, кстати, есть.

Заграничные.

Мы их в прошлом году сделали. В августе. Светочка уговорила. Сказала — «мам, сделайте, на всякий случай, вдруг пригодится». Мы с Колей ездили в Кострому, в этот их МФЦ, фотографировались, сдавали отпечатки пальцев. Коля сказал, что так только у преступников берут. Я сказала — «Коля, ну ты и есть преступник, ты в семьдесят девятом году у председателя гуся украл». Коля сказал — «это был не гусь, это был селезень». И сдал.

Паспорта лежат в комоде. В верхнем ящике. Под Колиной медалью «Ветеран труда». В целлофановом пакете. Новенькие. Ни одной печати.

На всякий случай.

Ну вот.

Случай.

* * *

Коля проснулся в три часа ночи.

Я слышала. Он скрипнул кроватью. Встал. Пошёл в сени — босиком, по холодному полу. Я думала — до ветру.

Нет.

Он полез на чердак.

Я слышала, как он ставит лестницу. Как скрипит люк. Как он там, наверху, ходит. Медленно. Тяжело. Что-то двигает. Что-то ищет.

Потом — спускается.

Осторожно. Как будто несёт что-то хрупкое.

Он вошёл в избу. В темноте. Я притворилась, что сплю.

Он поставил что-то на лавку у окна. Тяжёлое. Глухо стукнуло.

Постоял.

Потом подошёл к печке. Ко мне.

— Галя, — сказал Коля. Шёпотом. — Ты не спишь.

Это не вопрос был. Он знает. Он сорок лет знает, когда я притворяюсь.

— Не сплю, — сказала я.

Коля помолчал.

— Поедем, — сказал он.

Я села на печке.

В темноте не видно было его лица. Только силуэт. Высокий. Худой. В длинной рубахе. Усы.

— Коля, — сказала я. — Правда?

— Ну.

— А... а деньги? А Зорька? А дом? А кот?

— Разберёмся.

— А самолёт? Коля, ты же лифтов боишься. В районной больнице на второй этаж пешком ходишь.

— Разберёмся, — сказал Коля.

— А...

— Галя, — сказал Коля.

Я замолчала.

— Девка двенадцать лет дома не была, — сказал Коля. Тихо. — Двенадцать лет. Я ей... я ей не сказал тогда. Когда она уезжала. В восемнадцать. Не сказал ничего. Стоял у автобуса. Молчал. Как пень. — Пауза. — Она, может, поэтому и не приезжает.

Я молчала.

Я не знала, что он так думает.

Сорок лет — и не знала.

— Поедем, — сказал Коля. — Посмотрю, что там за Дмитрий.
Он повернулся. Пошёл к кровати. Лёг. Скрипнул.
А я сидела на печке. В темноте. И смотрела на лавку у окна.
Там, в лунном свете — луна как раз вышла из-за туч, — стоял футляр.
Чёрный. Потёртый. С кожаными ремнями. С медными застёжками.
Баян.

Колин. Тот самый. Тульский. Тысяча девятьсот восемьдесят первого года выпуска. Коля его купил на первую премию. На нём он играл на нашей свадьбе. На Светочкиных крестинах. На её проводах в школу. На её выпускном. На всех свадьбах района сорок лет.

Последний раз он его доставал — двенадцать лет назад.

На её проводах в Москву.

Он тогда сыграл ей «Прощание славянки». Прямо на остановке. У автобуса. Она плакала. Автобус ждал. Шофёр плакал тоже.

А потом Коля убрал баян на чердак.

И больше не доставал.

Ни на одну свадьбу.

Двенадцать лет.

* * *

Утром Коля встал в шесть. Как всегда.

Затопил печку. Поставил чайник. Выпил чаю. Стоя. У окна.

Потом подошёл к лавке. Открыл футляр.

Баян лежал внутри. Перламутровый, вишнёвый, с белыми кнопками и с мехами в чёрно-красную клетку. Пыльный. Чуть-чуть.

Коля достал его. Сел на лавку. Поставил на колено.

Развёл меха.

Баян вздохнул. Глубоко. Протяжно. Как человек, который долго-долго не дышал.

Коля нажал кнопку.

Одну.

Звук пошёл по избе. Низкий. Гулкий. Тёплый. Кот Барсик на печке поднял голову. Я у плиты уронила половник.

Коля посмотрел на меня.

— Баян возьму, — сказал он.

— Коля, — сказала я. — В самолёт? Баян?

— Баян возьму, — повторил Коля.

И заиграл.

«В лесу родилась ёлочка».

Медленно. С перебором. Как на ёлке в клубе, когда Светочке было пять и она была снежинкой в марлевой юбке.

За окном шёл снег.

Я стояла у плиты с половником в руке и плакала.

Уже третий раз за сутки.

Это было только начало.

Глава 2.

В которой мы собираемся

Билеты Светочка купила в тот же вечер.

Прислала на телефон. Картинками. Я долго не могла понять, где там что написано, — всё по-английски, буквы мелкие, какие-то коды, цифры, стрелочки. Люба пришла с очками, мы сели вдвоём у неё в магазине у самого роутера и разбирали, как шифровку.

— «Ди-ар-эм», — читала Люба. — «Эс-вэ-о». Это что?

— Не знаю.

— Это, может, «Дубай» и «Москва»?

— А почему тогда «Эс-вэ-о»? Москва же через «эм».

— Может, по-ихнему через «эс».

Мы позвонили Светочке. Светочка засмеялась и сказала, что «Эс-вэ-о» — это Шереметьево. А «Ди-эк-сэ-бэ» — это Дубай. Я сказала — «а почему не "Ди-у-бэ"?». Светочка сказала — «мам, не спрашивай, это коды аэропортов». Люба сказала — «у нас в Кочках аэропорта нет, значит, и кода нет». Светочка сказала — «у вас код — "Деревня"». Мы посмеялись.

Вылет — двадцать шестого декабря. Утром. В десять сорок. Прилёт — в тот же день, вечером. Пять часов лёту.

Пять часов!

У нас в Кострому автобус идёт три. С остановками в Судиславле, в Шемятине и у Бабиной сторожки, где всегда выходит одна и та же бабка с козой.

А тут — пять часов. И — Дубай.

Обратно — восьмого января. После Рождества.

Тринадцать дней.

Я посчитала на пальцах. Два раза.

Тринадцать дней — со Светочкой.

* * *

— Деньги, — сказал Коля.

Это было на следующий вечер. За ужином. Коля ел щи и смотрел в тарелку.

— Какие деньги? — сказала я. — Светочка билеты купила. Сказала — живите у меня. Сказала — ничего не надо.

— Ну, — сказал Коля.

Это «ну» значило — «Галя, не будь душой».

Я и сама понимала. Нельзя ехать к дочке в гости пустыми. Нельзя ехать — и сидеть у неё на шее. Нельзя ехать — и в магазин сходить не на что. Нельзя ехать к жениху знакомиться — и без подарка.

— У меня есть, — сказала я. — Пенсия. За три месяца отложено. И с прошлого года — на зубы. Я тогда к Зинаиде Аркадьевне ездила, она сказала — не надо пока, у меня и так хорошие. Тридцать восемь тысяч.

Коля молчал.

Потом встал. Пошёл в горницу. К комоду. Открыл нижний ящик. Порылся. Достал банку. Трёхлитровую. Из-под огурцов. С пластмассовой крышкой. Внутри — деньги. Сложенные. Перетянутые резинками.

Он поставил банку на стол. Рядом с щами.

Я смотрела на банку.

Я её никогда не видела.

Сорок лет — и не видела.

— Коля, — сказала я. — Это что?

— На чёрный день, — сказал Коля.

— Сколько тут?

Коля пожал плечами.

Я открыла крышку. Высыпала на стол. Стала считать.

Считала долго. Там были разные. Тысячные. Пятисотенные. Сотенные. Старые, мятые, какие-то ещё девяностых годов — я их отложила, они не ходят. Пятитысячные — три штуки. Совсем новенькие.

— Коля, — сказала я, когда досчитала. — Тут сто шестьдесят две тысячи.

Коля ел щи.

— Коля! Ты где взял?!

— Копил, — сказал Коля.

— С чего?!

— С баяна.

Я открыла рот.

— С каких баяна? Ты двенадцать лет на баяне не играл!

— До того, — сказал Коля. — Двадцать восемь лет. Свадьбы. Мне на свадьбах платили.

Я — в банку.

— А почему мне не говорил?!

Коля доел щи. Положил ложку. Вытер усы.

— Чёрный день, — сказал он. — А не было.

— А сейчас — чёрный?

Коля посмотрел на меня.

— Сейчас — белый, — сказал Коля. — Но тоже — день.

И пошёл курить на крыльцо.

Он не курит. Тридцать лет как бросил. Но на крыльцо — ходит. Постоять. Подумать.

Я сидела над банкой.

Сто шестьдесят две тысячи.

Сорок лет. На баяне. На свадьбах. В банку из-под огурцов.

На чёрный день.

А не было.

Я опять заплакала. Четвёртый раз за два дня. Мне Люба потом сказала — «Галка, ты так до Дубая всю воду в себе выплачешь, тебе в пустыне пить нечего будет».

* * *

— Карты там не работают, — сказала Светочка.

По телефону. С горки. В субботу.

— Какие карты?

— Ваши. Банковские. Российские. Мам, они за границей не работают. Совсем. Ни Сбер, ни «Мир», никакие. Вы там ничего не сможете оплатить картой. Вообще.

— А как же?

— Наличными. Мам, только наличными. Долларами. Поменяйте в Костроме. В банке. На доллары. А тут — я вам помогу, поменяем на дирхамы.

— На что?

— На дирхамы. Это тут деньги такие.

— Дирхамы, — повторила я.

Слово было — как будто кто-то чихнул.

— Мам, — сказала Светочка. — И только не везите много. Ну — сколько можете. Я вам всё равно всё оплачу. Это так, на всякий случай. На сувениры.

— А сколько тут... сколько там стоит, ну, хлеб?

Светочка помолчала.

— Мам, — сказала она осторожно. — Ты только не пугайся.

— Говори.

— Батон — ну, примерно как два наших. Кофе в кафе — как пять. Обед в ресторане — как... — Она замолчала.

— Как что?

— Как твоя пенсия, — сказала Светочка. — Мам. Но вы не волнуйтесь. Я вас кормить буду. Дома. Мы дома готовить будем.

Я стояла на горке. С телефоном.

«Обед — как твоя пенсия».

— Светочка, — сказала я. — Ты там как живёшь-то? Ты ж мне говорила — у тебя всё хорошо?

— У меня всё хорошо, мам, — сказала Светочка. — Правда. Я... я хорошо зарабатываю. Я... я директор. По мероприятиям. В отеле. — Пауза. — Мам, всё хорошо.

Уши у неё — опять.

Покраснели.

Это от солнца, подумала я.

Там же солнце.

* * *

В Кострому мы поехали двадцатого.

На автобусе. В семь утра. С остановками в Судиславле, в Шемятине и у Бабиной сторожки. Бабка с козой вышла. Как всегда.

Коля всю дорогу молчал. Смотрел в окно. На снег. На леса. На деревни.

Я — держала сумку. С деньгами. Ста шестьюдесятью двумя тысячами плюс моими тридцатью восемью. Двести тысяч. Я такие деньги в руках держала первый раз в жизни. Мне казалось, что весь автобус знает, что у меня в сумке. Что вон тот мужик в ушанке — знает. И вон та тётка с курами. И шофёр.

Коля сказал — «Галя, не дёргайся». Я сказала — «я не дёргаюсь». Коля сказал — «ты сумку двумя руками держишь, как утопающий — бревно».

Я держала двумя руками.

* * *

В банке нам поменяли.

Это было — как в кино. Окошко. Стекло. Девушка за стеклом — молоденькая, накрашенная, с ногтями — смотрела на нашу пачку рублей, на нас, на Колины усы, на мои валенки.

— На что меняете? — спросила она.

— На доллары, — сказала я. — Мы в Дубай едем.

Девушка подняла глаза.

— Куда?

— В Дубай, — сказала я. Громко. Гордо. — К дочке. На Новый год. Она там директор. И у неё жених. Бизнесмен.

Девушка посмотрела на Колю.

Коля стоял рядом. В ватнике. В ушанке. С усами в инее. Молча.

— Хорошо, — сказала девушка. Медленно. — Доллары.

И отсчитала.

Долларов было — немного. Тонкая пачка. Зелёные. Шершавые. Пахнут не так, как наши. Наши пахнут — как кошелёк. А эти — как типография.

— И всё? — сказала я.

— И всё, — сказала девушка.

— Это — двести тысяч?

— Это — двести тысяч, — сказала девушка. — По курсу.

Я смотрела на пачку. Тонкую. Как пирог у Любы, когда она экономит тесто.

— Коля, — сказала я. — Это — всё?

Коля взял пачку. Посмотрел. Положил во внутренний карман ватника.

— Ну, — сказал Коля.

* * *

Потом — чемодан.

У нас чемодана не было. Никогда. Мы никуда не ездили. Была сумка — клетчатая, клеёная, огромная, с которой я в восемьдесят девятом ездила в Москву на курсы. Она с тех пор на чердаке. Её мыши погрызли.

Мы пошли на рынок. На центральный. Там, в торговых рядах, где раньше были купеческие лавки, теперь продают всё. Китайское. От носков до холодильников.

Чемоданов было — сто. Разные. Большие, маленькие, твёрдые, мягкие, на колёсиках, без колёсиков. Чёрные, синие, серые.

И красный.

Один. Огромный. Ярко-красный. Как пожарная машина. На четырёх колёсиках. С ручкой, которая выдвигается.

— Этот, — сказала я.

— Галя, — сказал Коля. — Он — красный.

— Я вижу, что красный.

— Его ж видно будет. Издалека.

— Вот и хорошо, — сказала я. — Не потеряется.

Коля посмотрел на продавца. Продавец — мужчина восточный, уса́тый, весёлый — развёл руками.

— Хороший выбор, хозяйка, — сказал он. — Красный — к удаче. К деньгам. К любви.

— Сколько? — сказала я.

Продавец назвал.

Я ахнула.

И начала торговаться.

* * *

Я торгуюсь сорок лет.

На рынке в Судиславле. В Костроме. С цыганами, которые раз в год приезжают в Кочки менять кастрюли на картошку. С трактористами, которые просят спирту из ФАПа. С Колей, который не хочет надевать шарф. С Любой — за каждую булку, хотя Люба мне всё равно отдаёт за полцены.

Я торгуюсь — как дышу.

Через двадцать минут красный чемодан стоил вдвое меньше. И к нему прилагались: замочек, бирка, ремень для чемодана, маленькая подушка для шеи (продавец сказал — «для самолёта, хозяйка, там шея затекает») и пакет мандаринов.

Продавец вытирал лоб.

— Хозяйка, — сказал он. — Хозяйка, вы где так научились?

— В Больших Кочках, — сказала я.

— Хозяйка, — сказал продавец. — Вы в Дубае — всех разорите.

Коля рядом со мной хмыкнул в усы.

Это был первый раз, когда он засмеялся с того вечера, как я ему сказала.

* * *

Купальник я покупала одна.

Коле сказала — иди, посиди в машине. Машины у нас не было, мы на автобусе. Коле сказала — иди, посиди на лавочке. Коля сел на лавочку у торговых рядов и сидел. С красным чемоданом. Как памятник.

Магазин был — в подвальчике. «Всё для пляжа». Зимой. В Костроме. В декабре. Я сначала думала — закрыт. Нет — открыт. Внутри — тепло, светло, на вешалках — купальники, парео, шляпы с полями, надувные круги в виде фламинго.

За прилавком — девица. Лет двадцати. С розовыми волосами. С кольцом в носу. Как у быка.

— Здравствуйте, — сказала девица. — Вам что?

— Купальник, — сказала я.

Девушка посмотрела на меня. На шубу. На шапку. На валенки.

— Вам? — спросила она.

— Мне.

— Для бассейна?

— Для моря, — сказала я. — Мы в Дубай едем.

Девушка посмотрела на меня ещё раз.

Потом улыбнулась. Широко. Кольцо в носу заблестело.

— Ой, — сказала она. — Ой, как классно! Давайте! Какой размер?

Я не знала какой размер.

Я последний раз покупала купальник в восемьдесят шестом. В Судиславле. Синий, с белыми горошинами. Я в нём ходила на Кочку купаться. Коля тогда смотрел на меня с берега. Я делала вид, что не вижу.

Тот купальник давно истлел.

А размер с тех пор — поменялся.

Девушка меня обмерила. Сантиметром. Сказала цифру. Я ахнула. Девушка сказала — «ой, да это нормально, это красиво, это — женственно». И принесла три.

Я примеряла в кабинке. За шторкой. С зеркалом.

Зеркало было большое. Во весь рост.

Я на себя в полный рост не смотрела — давно. У нас дома зеркало — маленькое, над умывальником. Там видно только лицо. Лицо — нормальное. Морщинки, конечно. Щёки. Волосы — рыжие, я их хной крашу, седину. Глаза — карие, живые. Нормальное лицо.

А тут — всё.

Я стояла в синем купальнике — опять синем, само так вышло — и смотрела.

Круглая. Мягкая. Живот — после Светочки так и не ушёл. Руки — сильные, крепкие, фельдшерские. Ноги — в синих жилках. Белая. Белая-белая, как молоко. Я на солнце сорок лет не раздевалась. Только огород.

Шестьдесят четыре года.

— Ну как? — крикнула девушка из-за шторы.

Я не ответила.

Я смотрела в зеркало и думала: Коля меня такую — видел? Последний раз — когда?

Не помню.

— Можно? — спросила девушка. И, не дожидаясь, сунула голову за шторку.

Посмотрела.

— Ой, — сказала она. — Ой, вам идёт. Очень. Вам синий — прям ваш цвет. — Пауза.

— А мужу понравится.

— Мужу, — сказала я, — шестьдесят семь. Ему всё равно.

Девушка посмотрела на меня. Серьёзно. Без улыбки. С кольцом в носу.

— Мужчинам, — сказала она, — никогда не всё равно. Они просто молчат.

Я купила синий.

И ещё — шляпу. С полями. Соломенную. С синей лентой.

И ещё — парео. С пальмами.

Девушка сказала — «на удачу», — и подарила мне надувной круг. В виде фламинго.

Я не знаю, зачем я его взяла.

Взяла.

* * *

Плавки Коля покупать отказался.

Сказал — «у меня есть». Я сказала — «Коля, у тебя есть трусы, в которых ты в семьдесят девятом году в Кочке купался». Коля сказал — «вот и хорошо, проверенные». Я сказала — «они дырявые». Коля сказал — «вентиляция».

Купила сама. Синие. Без него.

Он не знает.

* * *

Сборы заняли неделю.

Это было — как на войну. Или как на свадьбу. Вся деревня участвовала.

Бабка Нюра принесла платок. Шерстяной, оренбургский, белый. Сказала — «Галя, там арабы. У них бабы в платках ходят. Надень, чтоб не обижать». Я сказала — «Нюра, там двадцать пять градусов». Нюра сказала — «а ты на голову, а не на шею». Я взяла. Нельзя бабку Нюру обижать. Ей девяносто один.

Митрич принёс фляжку. Сказал — «там не наливают». Я сказала — «наливают, Светочка говорила, в гостиницах». Митрич сказал — «а в гостинице — дорого. А тут — своё. Самогонка. Чистая. Как слеза». Я сказала — «Митрич, тебя самого лечить надо». Митрич обиделся и отдал фляжку Коле. Коля её положил в чемодан. Молча. Я сделала вид, что не видела.

Люба дала сим-карту. Какую-то хитрую. Сказала — «там свои симки, Галка, но пока до симки доберёшься — позвони мне, я тебе тут всё включу». Я не поняла как. Люба сказала — «неважно, Галка, главное — звони. Каждый день. Я тут всем рассказывать буду».

Шишкины взяли Зорьку. На две недели. Сказали — «Петровна, не волнуйся, доить будем, кормить будем, разговаривать будем». Зорька у нас разговорчивая. Если с ней не разговаривать — молока не даёт.

Кота Барсика взяла Люба. Барсик — толстый, серый, наглый. Он у Любы в магазине будет жить. На прилавке. Люба сказала — «ничего, будет вместо кассового аппарата, всё равно ничего не работает».

Батюшка, отец Сергей, пришёл в воскресенье после службы. Благословил. Окропил чемодан святой водой. Чемодан красный, капли на нём — как роса. Батюшка сказал — «Галина Петровна, вы там, если в пустыне будете, привезите песочка. Немножко. В баночке». Я спросила — зачем. Батюшка подумал и сказал — «для коллекции. У меня с Иерусалима есть, с Афона есть, а с пустыни — нету». Я обещала.

* * *

А чемодан — я собирала три дня.

Это было — главное.

Светочка сказала — «мам, ничего не надо, тут всё есть». Я сказала — «да-да». И собирала.

Сало. Своё. С нашего Борьки, которого Коля в ноябре... ну, неважно. Сало — с прослойкой, с чесночком, с перцем, в соли. Три куса. Я их завернула в пергамент, потом в газету, потом в целлофан, потом — в наволочку. Наволочку зашила. Чтобы не пахло.

Пахло.

Соленья. Огурцы — две банки. Грузди — одна. Капуста квашеная — с клюквой — одна. Помидоры — одна. Банки я обернула полотенцами, свитерами и Колиными кальсонами. Чтобы не побились.

Варенье. Малиновое — одна банка. Брусничное — одна. Вишнёвое — одна. Земляничное — маленькая, это — жениху. Особое. Я его варила только для гостей.

Пельмени. Двести штук. Лепила два вечера — с Любой и бабкой Нюрой. Заморозила на крыльце. Положила в сумку-холодильник, которую мне дала Шишкина, — у неё сын на вахте был, он с такой ездит. Сумка синяя, с серебряной фольгой внутри. Шишкина сказала — «двое суток держит холод».

Мёд — у Митрича в обмен на фляжку. Банка.

Грибы сушёные — на бечёвке. Связка.

Шуба. Моя. Мутоновая. Я сказала Коле — «вдруг там холодно ночью». Коля посмотрел на меня. Ничего не сказал. Шуба поехала.

Валенки. Мои — и Колины. Я сказала Коле — «Новый год же. Как без валенок?» Коля опять ничего не сказал. Валенки поехали.

Купальник. Шляпа. Парео. Плавки — тайком, на самое дно.

Фламинго — сдутое.

Бабкин платок.

Платье. Одно. Нарядное. Бордовое, бархатное, я в нём на Светочкином выпускном была. Шестнадцать лет назад. Оно мне — чуть-чуть. Ну — сильно. Я его расставила. Сама. В боках.

Подарки. Светочке — пуховый платок, тоже оренбургский. Жениху — Колин нож. Охотничий. С берестяной ручкой. Коля сам сделал. Лучший нож в районе. Коля сказал — «если жених нормальный — нож оценит. Если ненормальный — пусть хоть хлеб режет».

И — баян.

Отдельно. В футляре. Коля сказал — в руках понесу. В самолёт.

Светочка по телефону сказала — «пап, баян в самолёт нельзя, он большой, его в багаж». Коля сказал — «в багаж не дам». Светочка сказала — «пап, ну пожалуйста». Коля сказал — «ну». Это «ну» значило — «понесу в руках, и пусть меня арестуют».

Светочка вздохнула. И сказала, что купит баяну отдельный багаж.

* * *

Чемодан не закрывался.

Я села на него сверху. Он не закрылся. Позвала Колю. Коля сел рядом. Мы сидели вдвоём на красном чемодане. Он хрустел, но не закрывался.

Тогда Коля встал. Открыл. Посмотрел внутрь. Долго.

Вынул одну банку огурцов.

И закрыл.

Щёлкнул замок.

— Огурцы — оставь, — сказал Коля. — Светка их не ест. С детства.

Я не знала.

Тридцать четыре года — и не знала.

Он — знал.

* * *

Последний вечер я зашивала доллары.

В подушку. Маленькую, ту, что мне продавец на рынке подарил. Для шеи. Надувную. Нет — она надувная, туда не зашьёшь. В другую. В свою, перьевую, маленькую, думку. Я с ней в автобусе сплю.

Распорола шов. Вложила доллары — тонкую пачку, по три-четыре бумажки, между перьями. Зашила. Крестиком. Как на курсах учили шить раны.

Потом подумала — и часть переложила в бюстгальтер. В специальный кармашек. Я его пришила сама. Сбоку. Мама моя так в войну делала. И бабушка. Говорила — «у бабы в лифчике — самое надёжное место. Туда даже фашист не полезет».

Коля сидел в горнице. Делал что-то со своим ватником. Я видела в дверь.

Он распорол подкладку. На груди. Слева.

Вынул что-то из кармана. Какую-то бумажку. Сложенную. Или деньги. Я не разглядела.

Вложил в подкладку.

И зашил. Сам. Иголкой. Своими огромными мозолистыми пальцами. Неуклюже. Через край.

Я не спросила, что там.

Сорок лет — я не спрашиваю. Что надо — он сам скажет.

Когда-нибудь.

* * *

Двадцать пятого декабря, в шесть утра, к нашему дому подъехал Митрич на тракторе. С санями.

Мы с Колей вынесли красный чемодан, сумку-холодильник с пельменями, клетчатую сумку с банками, сумку с шубой и валенками, и — Коля — баян.

Погрузили в сани.

Вся деревня вышла. В шесть утра. В темноте. С фонариками.

Люба. Бабка Нюра — в валенках и в тулупе. Шишкины — с Зорькой на верёвке, Зорька пришла попрощаться. Батюшка — с кадилом. Дачники — четверо, в пуховиках. Митрича жена. Дети. Собаки.

Все стояли у нашего забора.

И смотрели.

На нас. На красный чемодан в санях. На Колин баян.

— Галка, — сказала Люба. Шмыгнула носом. — Галка, ты звони. Каждый день.

— Позвоню, Люба.

— Галина, — сказала бабка Нюра. — Платок надень. Не позорь.

— Надену, Нюра.

— Петровна, — сказал Митрич с трактора. — Шейху привет передавай.

— Он не шейх, Митрич! Он — бизнесмен!

— А, ну да, — сказал Митрич. — Всё равно передавай.

Батюшка махнул кадилом.

Зорька замычала. Протяжно. Как будто тоже — прощалась.

Я села в сани. Рядом с чемоданом.

Коля сел рядом со мной. С баяном на коленях.

Митрич дёрнул рычаг. Трактор заревел.

И тут Коля — я не поверила своим глазам — открыл футляр. Достал баян. Развёл меха.

И заиграл.

«Прощание славянки».

Прямо в санях. На ходу. В темноте. В шесть утра. Под ревущий трактор.

Деревня — стояла. Молча. Люба плакала. Бабка Нюра крестилась. Шишкина держала Зорьку за рога и тоже плакала. Зорька мычала в такт.

Мы уезжали.

Трактор полз по снегу к шоссе. К автобусной остановке. Огни деревни становились всё меньше.

Коля играл.

А я сидела рядом, держала на коленях думку с зашитыми долларами и думала, что двадцать лет назад он так же играл Светочке. На остановке. У автобуса.

Только тогда уезжала она.

А теперь — мы к ней.

Глава 3. Света. В которой у меня нет жениха

Я положила трубку — и села на пол.

Прямо на балконе. На тридцать первом этаже. Между кадкой с пальмой и сушилкой для белья.

Подо мной была Дубай-Марина. Сто небоскрёбов, натканных в берег, как свечки в торт. Яхты в канале — белые, сверкающие, похожие на кусочки сахара. Море — синее, до самого горизонта. Солнце. Плюс двадцать четыре. Четырнадцатое декабря.

У мамы за спиной была церковь. И снег. По колено.

Я сидела на полу и смотрела на телефон.

На экране ещё горело: «Мама. 14:07».

Четырнадцать минут.

За четырнадцать минут я пригласила родителей в Дубай, пообещала купить билеты, сказала, что я директор, и сообщила, что у меня есть жених.

Жених.

Дмитрий.

Бизнесмен.

Которого не существует.

* * *

Его не существует с сентября.

В сентябре мама позвонила с горки — как всегда, в воскресенье — и сказала: «Светочка, а Любина Танька третьего родила. Мальчика. Три шестьсот». И посмотрела на меня. Через экран. Через шесть тысяч километров. Тем взглядом.

Я его знаю с детства. Мама так смотрит на тех, кто к ней в ФАП приходит и говорит «да я так, Галина Петровна, просто давление померить». Мама смотрит — и человек через минуту рассказывает про всё. Про давление, про жену, про долги, про то, что пьёт.

Я тридцать четыре года живу под этим взглядом.

Шесть тысяч километров — не помогают.

В сентябре я не выдержала.

Я сказала: «Мам. У меня кто-то есть».

Мама замерла. На горке. С телефоном. Ворона на липе — замолчала.

«Кто?» — сказала мама.

И я — не знаю, что на меня нашло. Солнце, наверное. Или усталость — у меня в тот день была свадьба индийского миллиардера на четыреста гостей, со слоном. Или то, что Вадим за неделю до этого женился на какой-то девочке из Минска, двадцатитрёхлетней, и выложил свадьбу в соцсети, и все наши общие знакомые ставили сердечки.

Я сказала: «Его зовут Дмитрий».

Почему Дмитрий — не знаю. Первое, что пришло. У нас в отеле шеф-повар — Дмитрий. Шестидесятилетний француз. Он Димитри.

Мама сказала: «Ой».

И с тех пор каждое воскресенье спрашивала: «Как Дмитрий?»

Дмитрий был хорошо. Дмитрий работал. Дмитрий занимался бизнесом. Каким — я не уточняла. Мама не спрашивала. Мама спрашивала — «он тебя кормит?» Я говорила — «кормит, мам». Мама спрашивала — «он не пьёт?» Я говорила — «не пьёт, мам». Мама спрашивала — «он тебя любит?»

Я говорила — «любит».

И у меня горели уши. Я знаю. Я чувствовала. Я каждый раз отворачивалась от экрана — к солнцу. Чтобы мама думала, что это загар.

Мама думала.

Наверное.

А сегодня я увидела снег.

Мама повернула телефон — и показала. Деревню. Трубы. Дым. Речку Кочку подо льдом. Лес в инее.

Я двенадцать лет не видела снега. Ну — видела. В горах, в Грузии, куда мы с Вадимом ездили на выходные. Но это не тот снег. Тот снег — модный. С подъёмниками и глинтвейном за шестнадцать долларов.

А этот — наш. Кочкинский. Пушистый. Тёплый. Который набивается в валенки.

И я — не выдержала.

Я сказала: «Мам, приезжайте».

А потом мама спросила: «А ещё что?»

И я сказала: «У меня жених».

* * *

Я сидела на полу и думала.

Это было — как на работе. Когда за три часа до свадьбы оказывается, что слона не пустили в отель, потому что слон не проходит в лифт. Или что невеста — аллергик на розы, а в зале — восемь тысяч роз. Или что жених — не тот жених, потому что это его брат-близнец, а жених — в Мумбаи, и самолёт опоздал.

Меня за это и держат. В отеле. «Мисс Морозова решит». Мисс Морозова — решает. Мисс Морозова за шесть лет решила всё. Слона. Розы. Близнецов. Арабскую принцессу, которая хотела снег на пляже в августе, — мы привезли сорок тонн искусственного. Американскую звезду, которая потребовала, чтобы все официанты были в костюмах пингвинов, — мы нашли сорок костюмов пингвинов.

Мисс Морозова — директор по мероприятиям.

Ну — не директор.

Менеджер. Старший. Над мисс Морозовой — мистер Капур, директор. Над мистером Капуром — генеральный менеджер, швейцарец. Над швейцарцем — владелец, которого никто никогда не видел.

Маме я сказала — директор.

Ну а что. Почти.

Мисс Морозова — решает.

Ну вот.

Задача: двадцать шестого декабря прилетают родители. Из Больших Кочек. Впервые за границей. На тринадцать дней. Им нужен — жених. Дмитрий. Бизнесмен. Хороший. Который любит, кормит и не пьёт.

Срок — двенадцать дней.

Бюджет — нулевой.

Варианты.

Вариант первый. Сказать правду. «Мам, пап, Дмитрия нет. Я наврала. Я одна. Мне тридцать четыре. У меня никого нет. Вадим женился на девочке из Минска. Я двенадцать лет не была дома, потому что мне стыдно приехать одной».

Я представила мамино лицо.

Вариант первый — вычеркнуть.

Вариант второй. Сказать, что Дмитрий уехал. В командировку. Срочно. В Сингапур. На все праздники.

Мама скажет: «Ой, как жалко». И будет все тринадцать дней спрашивать — «а когда он вернётся?» «А почему он не звонит?» «А покажи фотографию». «А почему у тебя в квартире ни одной его вещи?» И на восьмой день мама сядет напротив меня, посмотрит тем взглядом — и я расскажу всё. Даже то, чего не было.

Вариант второй — вычеркнуть.

Вариант третий.

Найти Дмитрия.

* * *

Я встала с пола.

Пошла в комнату. Налила кофе. Села на диван. Открыла телефон. Список контактов. Мужчины.

Мистер Капур — шестьдесят один, женат, трое детей, индеец. Не подходит.

Димитри-шеф — шестьдесят, француз. По-русски знает «водка» и «на здоровье». Не подходит.

Карим — бармен с крыши. Двадцать шесть. Ливанец. Красивый, как картинка. По-русски — ни слова. Мама его съест.

Андрей — бывший коллега, переехал в Абу-Даби. Женат. Жена его меня ненавидит, потому что на корпоративе в позапрошлом году я с ним танцевала.

Олег — какой-то Олег из Москвы, познакомились на пляже. Пишет раз в месяц «привет как дела». Я не помню, как он выглядит.

Вадим.

Вадима я пролистала быстро.

Больше мужчин в моём телефоне не было.

Двенадцать лет. Две страны. Один бывший. И какой-то Олег.

Я положила телефон на диван экраном вниз.

И тут за стеной загрохотало.

* * *

Грохот был знакомый.

Он всегда начинается в субботу в одиннадцать. Нет, сегодня воскресенье. Значит, сегодня — в воскресенье. Что-то тяжёлое волокут по полу. Потом бросают. Потом — железный лязг. Потом — мужской голос, низкий, недовольный, говорит что-то короткое и, судя по интонации, неприличное. Потом — тишина. Потом — снова волокут.

Это — сосед.

Квартира три-один-ноль-семь. Напротив моей. Через коридор.

Я с ним не знакома.

Ну — знакома. Мы сталкиваемся у лифта. Раз в неделю. Он говорит «доброе утро». Я говорю «доброе утро». Он — русский. Я поняла по «доброму утру» — у него было такое «доброе утро», каким говорят «отойди, не мешай». Чисто наше. Ни один араб, индеец, англичанин и филиппинец так «доброе утро» не скажет.

Он высокий. Широкоплечий. Загорелый — не как туристы, а как те, кто работает на солнце. Бородатый — коротко, неаккуратно. Волосы — тёмные, с проседью на висках. Всегда в шортах и выцветшей футболке. Всегда пахнет морем, бензином и рыбой. Всегда тащит что-то: канистры, удочки, сети, какие-то ящики, якорь.

Однажды — якорь. Настоящий. В лифте. Я ехала с ним три этажа и держалась за поручень, потому что лифт кренился.

Консьерж Раджеш говорит, что он — «капитан». Что у него — яхта. В Марине. Маленькая. Старая. Возит туристов на рыбалку.

Раджеш говорит, что он «очень злой, мадам, но очень хороший».

Я не знаю, как это сочетается.

Грохот за стеной.

Лязг.

Короткое и неприличное.

Тишина.

Я посмотрела на стену.

Потом — на телефон.

«Найти Дмитрия».

Нет. Нет, Света. Ты с ума сошла. Он злой. Он таскает якоря. Он говорит «доброе утро», как «отойди». От него пахнет рыбой.

Мама скажет: «Света, от него пахнет рыбой».

Папа скажет: «Ну».

Папа — рыбак. Папа сорок лет ловит в Кочке. Папа скажет «ну» — и это будет одобрение.

Я посмотрела на стену ещё раз.

Грохот.

* * *

Я постучала в три-один-ноль-семь через двадцать минут.

Я успела: переодеться (два раза), накраситься (один раз, потом смыть, потом снова), отрепетировать речь (четыре раза, перед зеркалом), выпить ещё кофе и передумать (шесть раз).

Постучала.

Тишина.

Потом — шаги. Тяжёлые. Босые. По кафелю.

Дверь открылась.

Он стоял на пороге. Без футболки. В шортах. Мокрый — видимо, из душа. Или из моря. Полотенце на шее. Борода — мокрая. Волосы — мокрые.

В руке — рыба.

Большая. Серебристая. Сантиметров шестьдесят. С открытым ртом. Ещё свежая.

Он посмотрел на меня.

Я посмотрела на рыбу.

Рыба посмотрела на меня.

— Доброе утро, — сказал он. Тем самым тоном.

— Сейчас — день, — сказала я.

— Тогда — добрый день, — сказал он. — Что-то случилось? Я шумел?

— Вы всегда шумите.

— Я знаю, — сказал он. — Это — якорь. Я его чиню. Он тяжёлый.

— Зачем чинить якорь дома?

— Потому что на яхте его чинить негде. — Он переложил рыбу в другую руку. — Это — королевская макрель. Хамур, по-местному. Нет — хамур — это другая. Это — кингфиш. Утром поймал. Хотите?

— Нет, спасибо.

— Жалко, — сказал он. — Хорошая рыба. — Пауза. — Так что случилось?

Я открыла рот.

Речь, которую я репетировала четыре раза перед зеркалом, вылетела у меня из головы вся. Целиком. Как будто её и не было.

— Мне нужен жених, — сказала я.

* * *

Он не засмеялся.

Я ждала. Что засмеётся. Или закроет дверь. Или скажет «вы ошиблись квартирой». Или вызовет Раджеша.

Он не засмеялся.

Он стоял на пороге с кингфишем в руке и смотрел на меня. Внимательно. Сверху вниз. Глаза у него — я впервые заметила — были светлые. Серо-голубые. Как море у Мурманска, наверное. Я не была в Мурманске. Но мне почему-то показалось — как у Мурманска.

— Заходите, — сказал он. — Только осторожно. Там — якорь.

Я вошла.

Там был якорь.

Посреди гостиной. На расстеленном брезенте. Огромный, ржавый, четырёхлапый. Рядом — инструменты. Болгарка. Ведро с какой-то краской.

Квартира у него была — как у меня. Та же планировка. Две комнаты, кухня-гостиная, балкон на море. Только у меня — диван, ковёр, торшер, подушки, свечи, пальма в кадке. А у него — якорь, брезент, ящики, удочки на стене (восемь штук, я посчитала), сеть на балкон-

ной двери, карты морские на стенах, барометр, корабельные часы с медными стрелками. И — гамак. Вместо дивана. Натянутый между двумя стенами.

И — запах. Море. Бензин. Рыба. Краска. Кофе.

И — пельмени.

Пельмени?

Я принялась.

Нет. Не пельмени. Тесто. Варёное. Что-то вроде.

Он прошёл на кухню. Положил кингфиша в раковину. Вымыл руки. Надел футболку — выцветшую, серую, с надписью «Северный флот». Вернулся.

Сел на ящик. Кивнул мне — на другой ящик.

Я села.

— Рассказывайте, — сказал он.

И я рассказала.

* * *

Я рассказала всё.

Маму на горке. Снег. Дмитрия. Сентябрь. «Он тебя любит?» — «любит». Уши. Солнце. Сегодняшний звонок. Двадцать шестое декабря. Тринадцать дней. «Директор». Вадима. Девочку из Минска. Двенадцать лет.

Я не собиралась рассказывать всё.

Я собиралась сказать — «у меня к вам деловое предложение».

Но он сидел на ящике напротив, молча, и слушал. Не кивал. Не перебивал. Не смотрел в телефон. Просто — слушал. Как будто у него было всё время на свете. Как будто якорь подождёт.

И я рассказала всё.

Когда я закончила, он долго молчал.

Корабельные часы на стене тикали. Громко. Медными стрелками.

— Вы хотите, — сказал он наконец, — чтобы я тринадцать дней изображал вашего жениха. Перед вашими родителями. Которые приедут из деревни Большие Кочки Костромской области. Впервые за границу.

— Да.

— Дмитрия.

— Да.

— Бизнесмена.

— Да.

— Который вас кормит, любит и не пьёт.

— Да.

Он помолчал.

— Нет, — сказал он.

* * *

Я знала, что он скажет «нет».

Я — менеджер по мероприятиям. Шесть лет. Я знаю: первое «нет» — это не «нет». Это — начало переговоров.

— Почему? — сказала я.

— Потому что я не Дмитрий, — сказал он. — Я — Алексей. Громов. Лёша. — Он посмотрел на меня. — Потому что я не бизнесмен. Я — шкипер. У меня — яхта. Одна. Старая. Двадцать восьмого года выпуска. «Белуха». Я на ней вожу туристов на рыбалку. По восемьсот дирхам за четыре часа. Если везёт — три раза в неделю. Если не везёт — ни разу.

— Это — бизнес.

— Это — выживание, — сказал Громов. — И я — не люблю. Никого. Уже три года. После развода. И я — пью. Иногда. Пиво. На яхте. После рыбалки. — Пауза. — И я не умею врать. Я двадцать лет на флоте. Там, если врёшь, — тонешь.

— Вам не надо врать, — сказала я. — Вам надо просто — быть. Рядом. Держать меня за руку. Улыбаться. Есть мамины пирожки. Мама вас закормит. Слушать папу. Папа ничего не говорит. С ним легко.

— Держать за руку, — повторил Громов.

— Ну... да. Иногда.

— А целоваться?

Я покраснела.

— Нет, — сказала я. — Целоваться — нет. В Дубае вообще нельзя. На людях. Штраф. Или депортация.

— А не на людях?

— А не на людях — тоже нет, — сказала я. — Это — пункт первый.

Громов посмотрел на меня.

Уголок рта у него — дрогнул. Под бородой. Чуть-чуть.

— У вас уже есть пункты, — сказал он.

— Я — менеджер, — сказала я. — У меня всегда есть пункты.

* * *

Он сказал «нет» ещё три раза.

Я сказала «пожалуйста» — два. Один раз сказала «вам что, жалко». Один раз — «вы же русский человек, вы должны понять». На «русский человек» он хмыкнул и сказал, что русские люди как раз ничего не должны понимать, это их основное национальное преимущество.

Тогда я достала козырь.

— У нас в отеле, — сказала я, — четыреста номеров. Семьдесят процентов гостей — русские. Весь январь. Им всем — скучно. пляж, бассейн, ресторан, пляж, бассейн, ресторан. Я — каждую неделю ищу, чем их занять. Прогулки на яхтах — есть. На больших. На сорок человек. С диджеем и шампанским. Дорого. Им не нравится. Они хотят — по-настоящему. Рыбалку. Чтобы сами. Чтобы капитан — свой. Русский. Который скажет — «так, мужики, тут кингфиш, тут барракуда, удочки держим крепче».

Громов смотрел на меня.

— Я могу, — сказала я, — подписать с вами договор. От отеля. На январь. Февраль. Март. Три рыбалки в неделю. Минимум. Гарантированно. По тысяче двести за выход — у нас такие расценки для гостей. Отелю — двадцать процентов. Вам — остальное.

Тишина.

Корабельные часы тикали.

Громов смотрел на якорь. На брезент. На ящики.

Я знала, что попала. Я видела — у него на полу, у двери, лежала стопка конвертов. Нераспечатанных. С логотипами банков. Я такие видела у себя, когда Вадим ушёл и оставил мне кредит за машину.

— Сколько? — сказал Громов. Тихо.

— Что?

— Сколько выходов. Гарантированно.

— Тридцать шесть. На три месяца. Минимум.

Громов молчал.

Долго.

Потом встал. Подошёл к окну. К балкону. Посмотрел вниз — на Марину. На канал. На яхты.

Где-то там, внизу, среди белых сахарных яхт, стояла, наверное, его «Белуха». Двадцать восьмого года. Старая.

— Тринадцать дней, — сказал он. Не оборачиваясь.

— Тринадцать.

— Не Дмитрий.

— Что?

— Я не буду Дмитрием, — сказал Громов. — Я — Лёша. Я тридцать восемь лет — Лёша. Если ваша мама скажет мне «Дима» — я не обернусь. Я не умею оборачиваться на чужое имя. Это — пункт.

— Но мама уже... мама уже всей деревне сказала — Дмитрий!

— Скажете, что ошиблись. Что Дмитрий — это по-английски. А по-русски — Алексей.

— Это так не работает!

— Тогда — сами придумаете, — сказал Громов. — Вы — менеджер. Вы — решаете.

Я открыла рот.

Закрыла.

* * *

Пунктов было семь.

Мы записали их на обороте морской карты. Громов дал мне карандаш — огрызок, плотницкий, — и я писала на обороте карты Персидского залива. Он диктовал. Я — тоже.

«1. Никаких поцелуев. Нигде. Никогда.

2. Держаться за руки — можно. Обнимать — за плечи, в присутствии родителей. В остальное время — нет.

3. Жених не поёт, не танцует и не произносит тосты. (Громов настоял.)

4. Жених зовётся Алексеем. Для мамы — объяснить. (Я настояла: «объяснить» — моя проблема.)

5. Жених не врёт без необходимости. Если спросят — говорит правду, кроме того, что он не жених. (Громов: "Я двадцать лет на флоте. Если врешь — тонешь".)

6. После отъезда родителей — помолвка расторгается. Причина для родителей — «не сошлись характерами». (Громов предложил: «Скажете, что я вам изменил»). Я сказала: «Мама прилетит обратно и вас убьёт». Он подумал и согласился на «характеры».)

7. Отель подписывает договор на 36 выходов «Белухи». Начиная с 9 января».

Мы перечитали.

Громов взял карандаш. И дописал внизу, мелко, корявым почерком:

«8. Жених ест всё, что дадут. Даже если невкусно».

Я посмотрела на него.

— Это зачем?

— Ваша мама, — сказал Громов, — фельдшер из деревни. Она привезёт еду. Много. Она всегда везёт еду. Моя тёща так делала. Бывшая. — Пауза. — Если я откажусь хоть от одного пирожка — она всё поймёт. В первый же день.

Я смотрела на него.

Он смотрел на меня. Серо-голубыми глазами. Мурманскими.

— Вы, — сказала я медленно, — вы откуда знаете про мою маму?

— Я не знаю, — сказал Громов. — Я знаю про мам.

И протянул руку.

Через ящики. Через якорь.

Ладонь — огромная. Шершавая. В мозолях. С белым шрамом через большой палец. Пахнет рыбой, морем и краской.

Я пожала.

Рука у него была тёплая.

* * *

— Ещё одно, — сказал Громов. Когда я уже стояла в дверях.

— Что?

— Вы сказали — двенадцать лет не были дома.

— Да.

— Потому что стыдно приехать одной.

Я молчала.

Громов стоял посреди своей гостиной. В футболке «Северный флот». Рядом с якорем.

— Это — неправда, — сказал он.

— Что?

— Вы не потому не ездили, — сказал Громов. — Одной — не стыдно. Это я вам как разведённый говорю. — Он помолчал. — Вы не ездили, потому что боялись, что, если приедете, — не уедете обратно.

Я стояла в дверях.

Корабельные часы тикали.

Я не знала, что сказать.

Потому что это — была правда.

Я это поняла — только сейчас. На пороге чужой квартиры. Рядом с якорем.

— Вы, — сказала я, — вы же сказали, что не умеете врать.

— Не умею, — сказал Громов.

— Тогда откуда вы знаете?

Он пожал плечами.

— Я из Мурманска, — сказал он. — Двенадцать лет там не был.

И закрыл дверь.

* * *

Вадим позвонил вечером.

Я как раз сидела на балконе. С бокалом. Смотрела на огни Марины. На яхты в канале. Пыталась угадать, которая — «Белуха». Не угадала. Они все были белые.

Телефон зазвонил.

«Вадим».

Я смотрела на экран секунд десять. Потом — взяла. Не знаю зачем.

— Светик, — сказал Вадим. Голос — как всегда. Бархатный, ленивый, уверенный. — Привет. Как ты?

— Хорошо. А ты? Как жена?

Пауза.

— Мы... мы разъехались, — сказал Вадим. — Не сложилось. Она — ребёнок, Светик. Ей двадцать три. Ей — тусовки, блогеры, сторис. А мне — нужен человек. Взрослый. Понимающий. — Пауза. — Как ты.

Я молчала.

— Светик, — сказал Вадим. — Я на Новый год устраиваю вечеринку. На яхте. На своей. Ну — на арендованной, неважно. Сто двадцать футов. Салют с воды. Шампанское. Все наши. Приходи.

— Нет, — сказала я.

— Подумай, — сказал Вадим. — Я буду ждать. Ты знаешь — я умею ждать.

Он не умеет ждать. Он за три года ни разу не дождался меня с работы. Ни разу.

— Вадим, — сказала я. — У меня на Новый год — родители. Из деревни. И жених.

Тишина.

Долгая.

— Жених? — сказал Вадим. Медленно.

— Жених, — сказала я.

И положила трубку.

Уши у меня горели так, что, наверное, было видно с яхт.

* * *

А в одиннадцать вечера в дверь постучали.

Два раза. Тяжело.

Я открыла.

На пороге стоял Громов. В футболке. С тарелкой.

На тарелке — что-то. Горячее. Пахнет — рыбой, луком, укропом. И тестом.

— Это — кингфиш, — сказал Громов. — В пирожках. Я не съел. Утром. Вы не взяли.

— Пауза. — Пункт восемь. Жених ест всё, что дадут. — Он протянул тарелку. — А невеста? Я смотрела на пирожки.

Корявые. Кривые. Разные. Один — подгорел. Один — развалился. Пахнут — как дома. Как у бабки Нюры. Как у мамы — в субботу.

— Вы печёте пирожки? — сказала я.

— Бабушка научила, — сказал Громов. — В Мурманске. Двадцать лет назад. — Он помолчал. — Невкусные, наверное. Я давно не пёк.

Я взяла один.

Откусила.

Кингфиш. Лук. Укроп. Тесто — сыроватое внутри. Соли — мало.

Это были самые вкусные пирожки, которые я ела за двенадцать лет.

— Невкусные, — сказала я.

Громов посмотрел на меня.

На мои уши.

— Ну да, — сказал он.

И ушёл.

А я стояла в дверях с тарелкой кривых пирожков и думала, что мама его съест.

В хорошем смысле.

Глава 4.

В которой мы летим

В Москву мы приехали в шесть утра.

Ночным поездом. Из Костромы. В плацкарте. Светочка хотела купить купе — я не дала. Сказала: «Светочка, мы что, графья? В плацкарте ездили — и поедem». Светочка вздохнула. Купила плацкарт. Нижние полки.

Нижние — хорошо. Под нижними — ящики. В ящики влез красный чемодан. Почти. Ну — наполовину. Вторая половина торчала в проход, и всю ночь об неё спотыкались. Сначала — проводница. Потом — мужик с верхней полки, который ходил курить в тамбур четыре раза. Потом — бабушка с внуком, которые ходили в туалет. Каждый раз, спотыкаясь, говорили — «ох ты ж». Я каждый раз говорила — «простите, мы в Дубай». И они переставали ругаться. Сразу. Мужик с верхней полки на третий раз сказал: «В Дубай — это хорошо. В Дубай — спотыкайтесь сколько хотите».

Баян Коля держал на коленях.

Всю ночь. Не спал. Сидел у окна. С баяном. Смотрел, как мимо проносятся тёмные леса, снег, огоньки станций.

Я спала. Ну — пыталась. На думке с долларами. Думка хрустела. Мне снилось, что меня грабят.

* * *

Москва была — страшная.

Я не была в ней тридцать семь лет. В восемьдесят девятом она была — серая, большая, с очередями. А теперь — огни. Везде. Как будто Новый год уже наступил и никогда не кончится. Вокзал — как дворец. Люди — тысячи. Все бегут. Все с телефонами. Все — в наушниках.

Коля вышел из вагона, поставил баян на перрон, огляделся.

— Ну, — сказал Коля.

Это «ну» было новое. Я его раньше не слышала. Это было «ну» человека, который вышел из леса и увидел город. Как Маугли.

— До аэропорта, — сказала я, — на метро. Потом — на поезде. Аэроэкспресс. Светочка написала. С Белорусского вокзала. По кольцевой.

— На метро, — сказал Коля.

— На метро.

— С баяном.

— С баяном, Коля.

Коля посмотрел на меня.

Потом — на вход в метро. Там, над входом, горела красная буква «М». Как в восемьдесят девятом. Ничего не изменилось.

— Комсомольская, — сказала я. Тихо.

— Что?

— Станция, — сказала я. — Тут — Комсомольская. Там, где я в восемьдесят девятом заблудилась.

Коля посмотрел на букву «М». На меня.

Взял баян в левую руку. Чемодан — в правую. Кивнул мне на сумку-холодильник.

— Держись за меня, — сказал Коля. — Не потеряешься.

И пошёл.

* * *

Эскалатор был — как пропасть.

Я помнила его. Длинный, крутой, в самую глубину. Тогда, в восемьдесят девятом, я на нём стояла, вцепившись в поручень, и думала — сейчас упаду. Не упала. А внизу — потерялась.

Коля встал на ступеньку. С баяном. С чемоданом. Я — за ним. С сумкой-холодильником. Сзади — Москва. Тысяча человек. Все в наушниках.

Эскалатор поехал вниз.

Коля стоял. Как памятник. Не держась.

Посередине пути — я видела — он чуть-чуть побледнел. Самую малость. Под усами.

Коля не любит, когда далеко вниз. И когда далеко вверх. И когда тесно. И лифты. Особенно лифты. Однажды, в девяносто восьмом году, его заперло в лифте в районной больнице — он туда ездил с аппендицитом. Три часа. Между вторым и третьим этажом. С аппендицитом. Его оттуда достали — и сразу на стол. Хирург потом сказал, что Коля — первый пациент в его практике, который на операционном столе сказал «спасибо, что не в лифте».

С тех пор Коля в лифты не заходит.

Эскалатор — не лифт.

Но тоже — вниз.

Коля стоял.

Я положила руку ему на спину. Между лопаток. Как когда он болел.

Коля не обернулся. Но плечи — я почувствовала — чуть-чуть опустились.

Вниз — мы не потерялись.

Коля держал меня за руку. Весь переход. Всю дорогу. На кольцевой. На Белорусской. До поезда.

Он сорок лет не держал меня за руку на людях.

В Москве — держал.

* * *

В аэропорту я поняла, что мы ничего не понимаем.

Совсем.

Аэропорт был — как город. Только под одной крышей. Стеклойной. Огромной. Внутри — магазины, кафе, люди, люди, люди, табло с огоньками, голос из-под потолка, который говорил то по-русски, то по-английски, и ни разу — понятно.

Мы стояли посередине. С красным чемоданом, сумкой-холодильником, клетчатой сумкой с банками, сумкой с шубой и валенками и баяном.

И смотрели на табло.

— Дубай, — сказала я. — Коля, ищи Дубай.

Коля смотрел на табло.

— Ди-эк-сэ-бэ, — сказал Коля. Медленно. По буквам. — Вон.

— Где?

— Вон. — Коля показал. — Десять сорок. Ди-эк-сэ-бэ. Регистрация — тут написано — «Ди». Сектор «Ди».

Я посмотрела на Колю.

— Ты что, по-английски читаешь?

— Буквы знаю, — сказал Коля. — На тракторе всё по-английски было. «Джон Дир».

Тридцать лет.

* * *

На регистрации нас ждала девушка.

Не нас лично. Всех. За стойкой. В красной форме, в красной шапочке с белым платочком, который спускался сбоку, как у стюардесс в кино. Красивая, смуглая, с огромными чёрными глазами. Не русская.

— Хеллоу, — сказала девушка. И улыбнулась. — Пасспортс, плиз.

Я дала паспорта.

Девушка открыла. Посмотрела. На меня. На фотографию. На Колю. На фотографию. На Колины усы. Улыбнулась шире.

— Лаггедж? — сказала она.

— Что? — сказала я.

— Лаггедж, — повторила девушка. И показала на чемодан. — Бэгз.

— А, — сказала я. — Да. Вот. — И поставила на ленту красный чемодан.

Лента взвесила.

На табло загорелась цифра.

Девушка посмотрела на цифру.

Перестала улыбаться.

— Мэм, — сказала она. — Ит из... ит из тёрти-эйт килограммс.

— Что?

— Тридцать восемь, — сказал Коля. Сзади. — Тридцать восемь кило.

— Ну и что? — сказала я.

— Мэм, — сказала девушка. — Лимит из тёрти. Тридцать. — Она показала на пальцах.

Три. Ноль.

— И что?

— Восемь — лишних, — сказал Коля.

Я посмотрела на чемодан.

Восемь кило лишних.

Это — сало. Ну — частично. Сало, грибы, мёд, варенье, шуба. Ну и банки.

— Мэм, — сказала девушка. Вежливо. — Ю кэн пэй. Ор... ор тэйк саммсинг аут.

— Что она говорит?

— Говорит — плати, — сказал Коля. — Или вынимай.
Я посмотрела на девушку.
Девушка посмотрела на меня.
Я знаю этот взгляд. Я сорок лет так смотрю на мужиков, которые пришли в ФАП «просто давление померить», а сами пьяные.
Вежливый. Сочувственный. Непробиваемый.
Я вздохнула.
Открыла чемодан. Прямо на ленте. При всех.
Вынула шубу.
Девушка посмотрела на шубу.
— Ит из... ит из коуд ин Дубай? — сказала она. Удивлённо.
— Что?
— Спрашивает, холодно ли в Дубае, — сказал Коля.
— Ночью, — сказала я девушке. Твёрдо. — Ночью — может быть.
Девушка посмотрела на меня. На шубу. На Колю.
И — я не поверила — засмеялась. Не обидно. Тепло. Как Светочка смеётся.
— Окей, мэм, — сказала она. — Окей.
Шубу я надела. На себя. Поверх пальто. Стало — тридцать два кило.
Ещё два.
Я вынула валенки. Свои. И Колины. Надела Колины на Колю — прямо поверх ботинок не налезли, Коля снял ботинки и сунул их в клетчатую сумку. Свои — надела на себя.
Тридцать.
Девушка смотрела на нас. На меня в шубе поверх пальто и в валенках. На Колю в валенках и в ватнике с баяном.
Потом нажала кнопку.
Красный чемодан уехал. По ленте. За шторку. В неизвестность.
Девушка протянула нам паспорта. С билетами. С наклейками.
— Хэв э найс флайт, — сказала она. И добавила, по-русски, с акцентом, медленно: — С... с Новым годом.
Я чуть не заплакала.
Опять.
* * *

Баян пошёл отдельно.
Светочка купила ему место. Отдельное. Как пассажиру. Нет — как багажу. Негабаритному. Его надо было сдавать в специальном окошке, в конце зала.
Коля нёс баян через весь аэропорт. В валенках. Медленно. Как на похоронах.
У окошка стоял мужчина. Русский. В синей форме. Усатый. Как Коля.
— Что сдаём? — спросил мужчина.
— Баян, — сказал Коля.
Мужчина посмотрел на футляр.
— Тульский? — спросил он.
— Тульский, — сказал Коля.
— Восемьдесят первый?
— Восемьдесят первый.
Мужчина посмотрел на Колю. Долго. Уважительно.
— У меня отец на таком играл, — сказал он. — В Липецке. — Пауза. — Аккуратнее положу.
— Ну, — сказал Коля.
И отдал.

Я видела — он отдал не сразу. Подержал секунду. Две. Как ребёнка. Как Светочку — когда она родилась, и акушерка сказала «давайте, папаша», а Коля не отдавал.

Мужчина взял баян. Обеими руками. Бережно.

Унёс.

Коля стоял у окошка. В валенках. С пустыми руками.

— Коля, — сказала я. — Он прилетит. С нами. В том же самолёте.

— Знаю, — сказал Коля.

Но руки — я видела — он сунул в карманы ватника.

И не вынимал.

* * *

На досмотре у Коли отобрали фляжку.

Митричеву.

Она лежала у него во внутреннем кармане ватника. Я и не знала. Думала — в чемодане. А он, видно, переложил ночью. В поезде.

Рамка запищала.

Строгая женщина в форме — уже русская — сказала: «Мужчина. Карманы. Всё — на ленту».

Коля вынул: ключи от дома, перочинный нож — его отобрали сразу, Коля посмотрел на женщину так, как будто она его родную мать арестовала, — платок, коробок спичек (тоже отобрали), три карамельки «Барбарис», медяк — счастливый, он его с семьдесят восьмого года носит, и фляжку.

Женщина взяла фляжку. Открыла. Понюхала.

Скривилась.

— Это что? — сказала она.

— Лекарство, — сказал Коля.

Женщина посмотрела на него.

— Мужчина. Жидкости — только до ста миллилитров. Это — сколько?

— Триста, — сказал Коля. Честно.

— Изымается, — сказала женщина.

Коля помолчал.

— Митрич обидится, — сказал он.

Женщина посмотрела на него. На валенки. На ватник. На усы.

Что-то у неё в лице дрогнуло.

— Митрич — это кто? — спросила она.

— Сосед, — сказал Коля. — Девяносто третьего года выпуска самогон. С берёзовыми почками. Он мне на дорогу дал. Сказал — «в Дубае не наливают».

Женщина смотрела на него ещё секунду.

Потом закрыла фляжку. Положила в пластиковый ящик. К остальным изъятым. Там уже лежали: бутылка воды, крем для рук, банка мёда, чья-то губная гармошка.

— Передайте Митричу, — сказала женщина, — что в Дубае наливают. Но — не такое.

И отвернулась.

Я видела — она улыбалась.

* * *

Потом был — паспортный контроль.

Будка. Стекло. Пограничник — молодой, строгий, в зелёной фуражке.

Я дала паспорт. Он открыл. Посмотрел. На меня. На паспорт. На меня.

Взял печать.

Поставил.

Хлоп.

Первая печать. В моём паспорте. За шестьдесят четыре года.
Я смотрела на неё. Маленькая, синяя, с самолётиком. «Шереметьево. Выезд. 26.12.2026».
Пограничник вернул паспорт.
— Счастливого пути, — сказал он.
Я взяла паспорт. Двумя руками. Прижала к груди. К шубе.
— Спасибо, — сказала я. — Спасибо вам. Сынок.
Пограничник посмотрел на меня.
На секунду — я видела — перестал быть строгим.
— С Новым годом, мать, — сказал он.

* * *

А потом было — Дьюти-фри.
Я не знала, что это такое. Светочка написала — «мам, там магазины без налогов, но вы ничего не покупайте, там всё дорого». Я подумала — без налогов же. Значит — дёшево.

Вошла.

И пропала.

Это было — как в сказке. Как пещера Али-Бабы, про которую я Светочке читала в детстве. Только вместо сундуков с золотом — полки. Стеклянные. До потолка. С флакончиками. С баночками. С коробочками. Всё сверкает. Всё пахнет. Всё — блестит.

Духи.

Сотни.

Я в жизни столько духов не видела. У меня дома — одни. «Красная Москва». Коля мне подарил на тридцатилетие свадьбы. Флакончик — до сих пор полный. Я им — по праздникам. Одну каплю. За ухо.

А тут — сотни.

И можно — нюхать. Бесплатно. Стоят флакончики-пробники, и бумажечки — полоски такие белые, — и брызгай сколько хочешь.

Я брызнула.

На полоску. Понюхала.

Ой.

Брызнула другие. На запястье.

Ой-ой.

Третьи. На другое запястье.

Четвёртые. За ухо.

Пятые. На шубу.

Я ходила вдоль полок. Двадцать минут. И нюхала. И брызгала. И нюхала. Мне было — как в саду в июне, когда цветёт всё сразу: и черёмуха, и сирень, и жасмин, и шиповник. Голова кружилась. Девушки-продавицы ходили за мной. Сначала — с подозрением. Потом — с интересом. Потом одна, в чёрном, с идеальными бровями, подошла и сказала: «Женщина, а давайте я вам подберу. Ваш аромат. По характеру».

Я сказала — «давайте».

Она подобрала.

Брызнула мне на запястье.

Я понюхала.

Это было — как лес после дождя. Как мокрая земля, и мох, и грибы, и что-то сладкое, как малина, и что-то тёплое, как печка.

Как Большие Кочки.

Я спросила — сколько.

Девушка сказала.

Я села на пуфик.

Прямо в магазине. В шубе.

— Женщина, вам плохо? — спросила девушка.

— Это — Колина пенсия, — сказала я. — За полгода.

Девушка помолчала.

Потом — тихо, оглянувшись — дала мне пробник. Маленький. С ноготь. Стекланный. С этим самым лесом внутри.

— С Новым годом, — сказала она.

Я взяла.

Коля ждал меня у выхода из магазина. Сидел на скамейке. В валенках. С пустыми руками.

Понюхал меня.

— Галя, — сказал Коля.

— Что?

— Ты пахнешь, как парфюмерный отдел универмага «Кострома» в восемьдесят шестом, — сказал Коля. — Когда я тебе там «Красную Москву» покупал.

— Это плохо?

Коля подумал.

— Нет, — сказал он.

* * *

Самолёт был — огромный.

Я думала — самолёт — это как в кино. Узкий, тесный, с маленькими окошками. А этот — как дом. Двухэтажный. Мы — внизу. Сотни кресел. Синие, мягкие. В каждом — подушка, плед, наушники. И — телевизор. В спинке переднего кресла. С кнопками.

Наши места были — у окна. Я — у окна. Коля — рядом. Светочка выбирала. Написала — «мам, у окна, тебе понравится».

Коля сел.

Коленки упёрлись в переднее кресло. Коля — метр девяносто. Ноги — длинные. Он сложился, как перочинный нож.

— Коля, тебе удобно?

— Ну, — сказал Коля.

Это «ну» значило — «нет, но я не скажу».

Стюардесса — тоже в красной шапочке, тоже с платочком, — подошла. Посмотрела на Колины коленки.

Ушла.

Вернулась через минуту. С другой стюардессой.

Они что-то сказали друг другу. Не по-русски. Посмотрели на Колю. На его коленки. На валенки.

И одна сказала, по-русски, медленно, старательно:

— Сэр. Пожалуйста. Пересаживаться. Там. Больше. Места. Для ноги.

И показала вперёд. На ряд у выхода. Где перед креслами — пустое место. Метр. Как у нас в избе между печкой и лавкой.

Коля посмотрел на ряд.

Потом — на меня.

— А Галя? — сказал он.

Стюардесса посмотрела на меня.

— Мадам — тоже, — сказала она. — Двоих. Свободно.

Мы пересели.

Коля вытянул ноги. Во весь рост. В валенках.

Закрыв глаза.

— Ну, — сказал Коля.

Это было — «спасибо».

Стюардесса поняла. Я видела. Она улыбнулась.

* * *

Взлетали мы — я не помню как.

Нет — помню. Помню, как самолёт поехал. Медленно. Потом — быстрее. Потом — так быстро, что меня вдавило в кресло, как будто кто-то сел мне на грудь. Помню, как задрожало всё. Как загудело. Как будто тысяча тракторов разом.

Помню, как я схватила Колю за руку.

И помню, как Коля — не отнял.

А потом — пол ушёл.

Вниз.

И всё — стало тихо. Мягко. Как в лодке на Кочке, когда отталкиваешься от берега.

Я открыла глаза.

Посмотрела в окно. Окошко — круглое, маленькое. Ну — не очень маленькое. С тарелку.

Внизу была Москва.

Белая. В снегу. С тысячами крыш, дорог, машин — крошечных, как муравьи. С рекой — серой, извилистой. С лесами — тёмными, бархатными. С огоньками.

Она уходила вниз.

Всё дальше.

Всё меньше.

Потом пришли облака.

Белые. Пушистые. Как снег на горке у церкви. Как вата. Самолёт вошёл в них — и в окошке стало белым-бело. Ничего не видно.

А потом — вышел.

Над.

И я увидела.

* * *

Солнце.

Огромное. Яркое. Золотое. Над облаками было — солнце. Там, внизу, в Москве, был серый декабрь, снег, сумерки в десять утра. А тут — солнце. Как в июле. Небо — синее-синее, такое синее, какого я никогда не видела. А под нами — облака. До самого горизонта. Белые. Сияющие. Как поле. Как Кочкинский луг зимой, когда солнце после метели и всё — блестит.

Только — сверху.

Я смотрела.

Коля рядом со мной — тоже наклонился. Посмотрел. В моё окошко. Через моё плечо.

Долго.

Молчал.

Я чувствовала его дыхание. У себя на щеке. Тёплое. Пахнущее карамелькой «Барбарис» — у него в кармане их три, их не отобрали.

— Галя, — сказал Коля. Тихо.

— Что?

Коля молчал.

Долго.

— Мы ж с тобой, — сказал он, — в восемьдесят шестом мечтали. На Кочке. Помнишь? Лежали на берегу. На траве. Смотрели на облака. Ты говорила — «вот бы посмотреть, что там, сверху».

Я помнила.

Я не знала, что он помнит.

Мы лежали на берегу Кочки. Июль. Сенокос. Я — в синем купальнике с белыми горошинами. Он — в тех самых трусах, дырявых. Над нами — облака. Белые. Он сказал — «Галя, выходи за меня». А я смотрела на облака и сказала — «вот бы посмотреть, что там, сверху». И только потом — «выйду».

— Вот, — сказал Коля. — Сверху.

Я смотрела на облака.

На солнце.

На синее небо.

Сорок лет.

Сорок лет — и он помнил.

Я не заплакала.

Ну — заплакала. Пятый раз. Нет, шестой. Нет — я сбилась со счёту.

Коля сжал мою руку.

Не отпускал.

Пять часов.

* * *

Еду принесли через час.

Стюардесса — та, что пересадила нас, — катила тележку. Остановилась у нас. Улыбнулась.

— Чикен ор фиш? — сказала она.

— Что?

— Курица или рыба, — сказал Коля.

Я подумала.

— А можно — и то, и другое? — спросила я.

Стюардесса посмотрела на меня. Не поняла.

Я показала. Два пальца. И — на тележку. На обе кастрюльки.

Стюардесса подумала. Посмотрела по сторонам.

И дала — обе.

Курица была с рисом. В остром соусе. Жёлтом. Я такого не ела никогда. Обожгла язык — как будто перца целую горсть положили. Коля съел свою, не моргнув.

Рыба — с картошкой. Белая, нежная. Хорошая. Я подумала — Коля такую в Кочке не поймает.

Коля попробовал рыбу. Пожевал.

— Морская, — сказал он. — Не наша. — Пауза. — Но — ничего.

Хлеб — булочка. Маленькая. Тёплая. Масло — в крошечной коробочке. Салат — какие-то листья, помидоры-черри, оливки. Десерт — пирожное. Сладкое-сладкое, с орехами, с мёдом. Арабское, наверное.

Я съела всё.

А булочку и масло завернула в салфетку. И положила в сумку.

На всякий случай.

Коля посмотрел на меня.

— Галя, — сказал он.

— Что? Вдруг там есть нечего.

— Галя, там Светка.

— Вот Светке и отдам, — сказала я.

* * *

Туалет был — отдельная история.

Я его искала двадцать минут. Нашла. Вошла. Закрыла. Повернула задвижку. Загорелась лампочка.

Внутри было — как в шкафу. Маленьком. Всё — блестит. Всё — пластиковое. Раковина — с ноготок. Кран — без ручки.

Как он открывается?

Я стояла над раковиной.

Тянула кран. Нажимала. Крутила. Стучала.

Ничего.

Потом — случайно — поднесла руки.

И кран сам зашумел.

Я отпрыгнула. Стукнулась спиной о дверь.

Вода текла.

Я поднесла руки ещё раз. Осторожно.

Вода текла.

Убрала руки.

Вода перестала.

Поднесла.

Течёт.

Убрала.

Перестала.

Я стояла в туалете самолёта, на высоте десять тысяч метров, над облаками, и смеялась.

Вслух. Одна. Как дура.

Потом нажала на кнопку — смыв.

Унитаз взревел. Как трактор. Как будто его засасывает в небо.

Я выскочила из туалета.

Коля сидел у прохода. Смотрел на меня.

— Ну? — сказал Коля.

— Коля, — сказала я. — Там кран — сам.

— Знаю, — сказал Коля.

— Откуда?

— Я там был, — сказал Коля. — Полчаса назад. Пока ты спала.

— И как ты?

Коля помолчал.

— Я руками махал, — сказал Коля. — Минут пять. Как дирижёр.

Мы посмотрели друг на друга.

И засмеялись. Оба. На весь самолёт.

Стюардесса в проходе обернулась. И тоже засмеялась. Не зная над чем.

* * *

А потом — стемнело.

Сразу. Как будто кто-то выключил свет. Мы летели навстречу ночи — Светочка потом объяснила, что там, в Дубае, на час позже, нет, на час раньше, нет — неважно.

За окном — тьма.

Потом — огни.

Сначала — редкие. Кучками. Как деревни. Как наши Кочки, Малые Кочки, Судиславль, если смотреть с горки зимой ночью.

Потом — больше.

Потом — я прижалась к окошку.

Внизу была — не тьма.

Внизу было — золото.

Как будто кто-то взял огромный мешок золотого песка и рассыпал. По чёрной земле. Неровно. Щедро. Широкими горстями. Полосами. Узорами. Звёздами.

А у самого края — где земля кончалась и начиналась вода — золото обрывалось. Ровной линией. И за ней — чернота. Море.

А посреди золота — свет. Белый. Яркий. Высокий. Как свеча. Как игла.

Он торчал из золотого песка — тонкий, сверкающий, в самое небо.

— Коля, — сказала я. Шёпотом. — Коля. Смотри.

Коля наклонился.

Посмотрел.

Долго.

— Ну, — сказал Коля.

И я поняла, что это «ну» я тоже никогда раньше не слышала.

Это было «ну» человека, который сорок лет смотрел на облака с берега Кочки, — и вдруг увидел, что там, сверху.

И что там, внизу.

Голос из-под потолка сказал что-то по-английски. Потом — по-арабски. Потом — по-русски, с акцентом, медленно:

— Дамы и господа. Наш самолёт... начинает снижение... в аэропорт... Дубай. Температура... в Дубае... двадцать... четыре... градуса.

Двадцать четыре.

Я посмотрела на себя.

На шубу. На валенки.

На Колю — в валенках и в ватнике.

Коля посмотрел на меня.

— Галя, — сказал он. — А шубу-то ты зря.

— Ночью, — сказала я. — Ночью может быть холодно.

Коля ничего не сказал.

Только усы — дрогнули.

Глава 5.

В которой нас досматривают

Шубу я сняла через сорок шагов.

Мы вышли из самолёта — не по лесенке, как в кино, а по коридору, такому, знаешь, гармошкой, прямо из двери самолёта в здание, — и меня обдало.

Не жаром. Нет. Внутри было прохладно. Кондиционеры. Светочка предупреждала. Но сквозь этот холодок — откуда-то, из щелей, из-под пола гармошки — пробивался другой воздух. Тёплый. Влажный. Густой. Пахнущий морем, керосином и чем-то сладким, как цветы, которых я не знаю.

Двадцать четыре градуса.

В десять вечера.

Двадцать шестого декабря.

Я шла в шубе поверх пальто, в валенках, в платке бабки Нюры — я его надела ещё в самолёте, когда начали снижаться, чтобы не обижать арабов, — и чувствовала, как по спине течёт.

На сороковом шаге я остановилась. Сняла шубу. Сняла пальто. Осталась в кофте.

На восьмидесятом — сняла кофту.

Коля шёл рядом. В ватнике. В валенках. Молча. Потел — я видела, — но молчал.

— Коля, — сказала я. — Сними ватник.

— Не сниму.

— Коля, тебе жарко.

— Не жарко.

— Коля, у тебя с усов капает.

Коля потрогал усы. Мокрые.

— Ватник не сниму, — сказал он. Твёрдо.

Я не поняла почему.

Потом — вспомнила. Подкладка. Слева. Зашитая. Через край. Неуклюже.

Я ничего не сказала.

* * *

Аэропорт был — как Москва. Только больше.

И — золотой.

Ну, не совсем. Но много золота. Колонны — как пальмы, золотые, до самого потолка. Пол — мраморный, блестящий, в нём всё отражается, как в Кочке весной. Потолок — высоко-высоко, стеклянный, белый. Люди — тысячи. Всех цветов. Всех языков. В белых длинных рубахах до пят — мужчины, и на головах у них — белые платки с чёрными обручами. В чёрных длинных платьях — женщины, с закрытыми головами, некоторые — с закрытыми лицами, только глаза видно. В шортах и майках — туристы. В сари — индийские женщины, яркие, как цветник. В пиджаках — с портфелями. С детьми. С колясками. С тележками.

Мы шли за людьми из нашего самолёта. Куда они — туда и мы.

Долго. Коридоры. Эскалаторы. Поезд — да, поезд, маленький, без машиниста, внутри аэропорта, нас посадили и повезли, Коля вцепился в поручень и не отпускал. Ещё коридоры.

И — будки.

Паспортный контроль.

Длинный ряд. Стекло. За стеклом — мужчины в белых рубахах и белых платках с чёрными обручами. Арабы. Настоящие. Как на картинке в учебнике у Светочки — «Жители пустыни».

Наша очередь.

Я подошла первая. Дала паспорт.

Араб за стеклом — молодой, с короткой чёрной бородкой, с усталыми глазами — взял паспорт. Открыл. Посмотрел на фотографию. На меня.

На мою голову. На платок бабки Ньюры. Оренбургский. Пуховый. Белый.

Брови у него — поднялись.

Чуть-чуть.

— Рашша? — сказал он.

— Россия, — сказала я. — Кострома. Большие Кочки.

Араб помолчал.

Потом показал на какую-то штуку перед будкой. Чёрную. С окошком. Как фотоаппарат.

— Лук, — сказал он. — Хиа.

— Что?

— Смотри, — перевёл Коля. Сзади. — Туда.

Я посмотрела.

В окошке что-то мигнуло. Красным.

Я отпрыгнула.

— Коля! Меня просвечивают!

— Глаз фотографируют, — сказал Коля. — Светка писала.

— Зачем?!

— Чтоб узнать.

— Меня?!

— Тебя.

Араб за стеклом смотрел на нас. На меня — отпрыгнувшую. На Колю — в ватнике.

И — я видела — у него дрогнули губы. Под бородкой.

Он показал ещё раз на окошко. Мягче.

— Плиз, мадам, — сказал он. — Лук. Ван момент.

Я подошла. Посмотрела в окошко.

Мигнуло.

Я не отпрыгнула. Только зажмурилась. На секунду.

Араб что-то нажал. Посмотрел в свой экран. Взял печать.

Хлоп.

Вторая печать. В моём паспорте. Вторая — за один день.

Он протянул мне паспорт.

И ещё — маленький пакетик. Пластиковый. С какой-то карточкой внутри. Синей. С надписью.

— Сим-карт, — сказал араб. — Фри. Гифт. Велком ту Дубай.

— Что он говорит?

— Говорит — подарок, — сказал Коля. — Симка. Бесплатно. Добро пожаловать.

Я смотрела на пакетик.

Потом — на араба.

— Спасибо, — сказала я. По-русски. — Спасибо, сынок.

Араб посмотрел на меня.

На платок бабки Ньюры.

— Ю ар велком, мама, — сказал он.

«Мама».

Он сказал — «мама».

Я чуть не заплакала.

Не заплакала. Я уже устала. Я сорок раз за неделю плакала.

Но — чуть.

* * *

Чемодан приехал через полчаса.

Мы стояли у ленты. Лента ехала — кругами — и на ней ехали чемоданы. Чёрные. Синие. Серые. Сотни. Все одинаковые.

И — красный.

Его было видно — издалека. Как пожарную машину. Как помидор на снегу. Люди обращивались.

— Вот, — сказала я Коле. — А ты говорил — «он красный».

— Ну, — сказал Коля.

И снял чемодан с ленты. Одной рукой. Тридцать килограммов. Он сорок лет мешки с картошкой носит.

Сумка с банками — тоже приехала. Целая. Я проверила — ощупала. Ничего не разбилось. Колины кальсоны выдержали.

Сумка-холодильник с пельменями — приехала. Холодная. Шишкина не обманула.

А баяна — не было.

Лента ехала. Кругами. Чемоданы кончились. Люди разошлись.

Баяна — не было.

Коля стоял у ленты. В ватнике. С пустыми руками.

Лицо у него было — я такое видела один раз. Когда Светочка в три года потерялась на ярмарке в Судиславле. На двадцать минут. Её нашли у карусели — она каталась на лошадке и смеялась. А Коля эти двадцать минут бегал по ярмарке — вот с таким лицом.

— Коля, — сказала я. — Он — негабаритный. Светочка писала. Он отдельно выдаётся. В другом месте.

Коля не ответил.

— Коля!

Коля медленно повернулся.

— Где? — сказал он.

* * *

Баян нашёлся в углу.

У специальной стойки. «Oversized baggage». Стоял — один. Чёрный футляр. Потёртый. С ремнями. С медными застёжками.

Рядом с ним стоял человек. В синей форме. Индеец, наверное. Смуглый, маленький, с аккуратными усиками. Смотрел на футляр. С интересом.

Коля подошёл.

Индеец посмотрел на него. На ватник. На валенки. На усы.

На баян.

— Ю? — сказал индеец. И показал на футляр.

— Я, — сказал Коля.

— Вот ис ит? — спросил индеец. — Гитар?

— Баян, — сказал Коля.

— Бая-н, — повторил индеец. Старательно. — Бая-н. Мьюзик?

— Музыка, — сказал Коля.

Индеец посмотрел на футляр. На Колю. Опять на футляр.

И сделал жест. Руками. Как будто растягивал меха. Вопросительно. Мол — так?

Коля смотрел на него.

Секунду.

Потом — молча — расстегнул медные застёжки. Открыл футляр. Достал баян. Прямо там. В зале выдачи негабаритного багажа. В аэропорту Дубая. В десять сорок вечера.

Развёл меха.

И сыграл.

Не песню. Не мелодию. Просто — аккорд. Один. Большой, широкий, мажорный. Как будто кто-то распахнул окно в июне.

Аккорд прокатился по залу. Ударился в мраморный пол. В стеклянный потолок. В золотые колонны.

Люди обернулись. Все. Человек тридцать, кто был в зале. Женщины в чёрном. Мужчины в белом. Туристы в шортах. Уборщик с тележкой.

Индеец — стоял с открытым ртом.

Коля сложил меха.

Убрал баян в футляр. Застегнул.

— Мьюзик, — сказал Коля. Индийцу.

Индеец медленно закрыл рот.

Потом — поднял руки. И захлопал. Сам. Один.

И весь зал — тридцать человек — захлопал вместе с ним.

Коля взял футляр. Повесил на плечо. На ватник.

— Ну, — сказал он мне. — Пошли.

Я пошла.

Я сорок лет за ним иду.

Иногда — с открытым ртом. Как этот индеец.

* * *

Таможня была — последняя.

Мы её почти прошли. Почти. Там — зелёный коридор, «нечего декларировать», и все идут через него, не останавливаясь. Мы тоже пошли. Мне Светочка написала — «мам, идите через зелёный, у вас ничего такого нет».

У нас ничего такого не было.
Мы шли через зелёный.
С красным чемоданом.
И тут — собака.

Маленькая. Рыжая, с белым, с длинными ушами. Как у нашей Шишкинской Жульки, только умнее. На поводке. Поводок держал мужчина — в синей форме, в фуражке, высокий, серьёзный.

Собака шла вдоль людей. Нюхала. Чемоданы. Сумки. Ноги.
Дошла до нас.

Понюхала Колины валенки. Чихнула.
Понюхала сумку-холодильник. Задумалась.
Понюхала красный чемодан.

И — села.

Прямо перед ним. Хвост — по полу. Глаза — на меня. Уши — торчком.

Мужчина в фуражке остановился.

Посмотрел на собаку. На чемодан. На меня.

— Мэм, — сказал он. — Плиз. Ю бэг. Он зе тэйбл.

— Что?

— Чемодан, — сказал Коля. Тихо. — На стол. Открыть.

Я посмотрела на собаку.

Собака смотрела на меня. Не отрываясь. С обожанием. Как Зорька смотрит, когда я ей хлеба с солью несую.

Я знала, что она учуяла.

Сало.

Зашитое в наволочку. В пергаменте, в газете, в целлофане.

Я знала, что учуяла. Я сама его солила. С чесночком. С перцем. С лавровым листом. Три куска. С прослойкой.

Нашего Борьки.

* * *

Чемодан открыли на столе.

Прямо в зале. На металлическом столе. При всех.

Мужчина в фуражке — и ещё один, постарше, полный, с седыми висками, тоже в синем — вынимали всё. По одному. Аккуратно. Раскладывали на столе.

Свитера. Колины кальсоны. Банки — завёрнутые в кальсоны. Банку груздей. Банку капусты. Банку помидоров. Варенье — малиновое, брусничное, вишнёвое, земляничное. Мёд. Грибы на бечёвке. Мой синий купальник — мужчина в фуражке развернул его, посмотрел, покраснел и быстро свернул обратно. Шляпа. Парео. Фламинго — слудое. Коля посмотрел на фламинго. Потом — на меня. Ничего не сказал.

И — наволочка.

Белая. В цветочек. Зашитая крестиком.

Пахнувшая.

Собака у стола — встала. Хвост — ходуном.

Мужчина постарше взял наволочку. Пощупал. Понюхал.

Посмотрел на меня.

— Мэм, — сказал он. — Вот ис зис?

Я открыла рот.

Закрыла.

Я не знаю, как по-английски «сало».

Я вообще по-английски знаю только «хеллоу», «сэнк ю» и «Джон Дир» — с Колиного трактора.

— Это — сало, — сказала я. По-русски. Громко. Как будто громко — понятнее.

Мужчина посмотрел на меня.

— Са-ло? — повторил он.

— Сало, — сказала я. — Наше. Домашнее. С чесночком.

Мужчина постарше посмотрел на мужчину в фуражке. Мужчина в фуражке пожал плечами.

Тогда мужчина постарше достал из кармана ножик. Маленький. Аккуратно подпорол шов на наволочке. Мой крестик. Сорок лет фельдшером — я так раны шила.

Развернул целлофан. Газету. Пергамент.

Сало лежало на металлическом столе.

Розовое. С прослойкой. В соли. С чесночком.

Пахло — на весь зал.

Собака — завывала. Тоненько. Счастливо.

Мужчина постарше посмотрел на сало.

Долго.

Потом поднял на меня глаза.

— Мэм, — сказал он. Мягко. — Ис зис... порк?

Я не поняла.

— Свинина, — сказал Коля. Сзади. — Он спрашивает — свинина?

Я посмотрела на сало.

— Нет, — сказала я. — Нет, это не свинина! Это — сало!

* * *

Нас отвели в комнату.

Не в тюрьму. Нет. Просто — в комнатку. Сбоку. С белыми стенами, с кондиционером, со столом и с тремя стульями. Нас посадили. Меня и Колю. С салом на столе — его принесли за нами, на подносе. С собакой — она пришла сама, поводок волочился. Села у моих ног. Положила голову мне на валенок.

Мужчина постарше ушёл.

Вернулся через пять минут.

С девушкой.

Молоденькая. Лет двадцати пяти. В синей форме. Лицо — круглое, скуластое, с узкими тёмными глазами. Волосы — чёрные, гладкие, в пучке.

— Здравствуйте, — сказала девушка. По-русски. Чисто. С лёгким акцентом. — Меня зовут Айгерим. Я из Казахстана. Я работаю в аэропорту. Я переведу.

Я чуть не бросилась ей на шею.

— Айгерим! — сказала я. — Деточка! Скажи им! Скажи — это не свинина! Это — сало!

Айгерим посмотрела на сало.

На меня.

Губы у неё — дрогнули.

— Апа, — сказала она. Мягко. — Апа. Сало — это свинина.

— Нет, — сказала я. — Свинина — это мясо. А сало — это сало.

Айгерим посмотрела на мужчину постарше. Сказала ему что-то по-английски. Длинное. Он слушал. Кивал. Потом сказал что-то в ответ.

Айгерим повернулась ко мне.

— Апа, — сказала она. — Он говорит — в Эмиратах свинину ввозить нельзя. Совсем. Даже немножко. Даже своё. Даже с чесночком. — Пауза. — Он говорит — простите.

Я смотрела на сало.

Наш Борька.

Коля его кормил полгода. Картошкой. Комбикормом. Хлебом. Коля с ним разговаривал. Коля его звал «Борис Николаевич». Коля потом три дня не ел, когда...

Ну, неважно.

Сало лежало на подносе.

Розовое. С прослойкой.

— А куда его? — сказала я. Тихо. — Выбросят?

Айгерим спросила.

Мужчина постарше подумал.

Посмотрел на меня. На мой платок. На Колю — в ватнике, молчаливого, огромного, с баяном на плече.

На собаку — она так и лежала у меня на валенке.

И сказал что-то. Длинное. Медленно.

Айгерим слушала. И улыбалась.

— Апа, — сказала она. — Он говорит — выбрасывать не будут. Есть — камера хранения. Для запрещённых вещей. Его положат туда. В холодильник. Запечатают. Дадут вам квитанцию. А когда вы будете улетать — домой — заберёте. В аэропорту. Перед вылетом.

Я смотрела на неё.

— Он полетит обратно? — сказала я.

— Полетит обратно, — сказала Айгерим.

— Сало?

— Сало, апа.

Я посмотрела на сало.

Потом — на Колю.

Коля смотрел на сало. Тоже. Долго.

— Ну, — сказал Коля. — Хоть Дубай посмотрел.

Айгерим перевела.

Мужчина постарше — засмеялся. Громко. Хлопнул себя по коленям. Мужчина в фуражке — тоже. Айгерим закрыла рот рукой.

А собака у меня на валенке — вздохнула. Глубоко. Как будто расставалась навсегда.

* * *

Пельмени — пропустили.

Айгерим спросила — «а это что?» Я сказала — «пельмени». Айгерим спросила — «с чем?» Я сказала — «с говядиной и с лучком». Айгерим перевела. Мужчина постарше открыл сумку-холодильник, понюхал. Подумал. Посмотрел на меня.

— Биф? — спросил он.

— Говядина, — сказала я. Твёрдо. — Зорькин бычок. Прошлого года. Чистая говядина. Это была правда.

Я свинину в пельмени не кладу. Никогда. Меня бабушка учила — «пельмени, Галя, только из говядины, и чтоб с луком, а свинину — это для котлет». Сорок лет — только говядина.

Повезло.

Мужчина постарше закрыл сумку. Кивнул.

— Окей, — сказал он.

Банки — пропустили. Варенье — пропустили. Мёд — пропустили. Грибы — пропустили, только мужчина в фуражке долго нюхал связку и что-то спрашивал у Айгерим, а Айгерим объясняла, что это — «мушрумс», «драй», «фром форест», и он кивал, и нюхал ещё.

Колин нож — в чемодане, подарок жениху, — посмотрели. Подержали в руках. Мужчина постарше провёл пальцем по берестяной ручке. Сказал что-то.

— Он говорит — хорошая работа, — перевела Айгерим. — Кто делал?

— Он, — сказала я. И показала на Колю.

Мужчина постарше посмотрел на Колю.

Долго.

Протянул ему руку.

Коля пожал.

Ничего не сказали оба. Ни слова. Они на разных языках молчали — одинаково.

* * *

Нам дали квитанцию.

На сало.

Бумажку. С печатью. С номером. С надписью по-английски и по-арабски. Айгерим перевела: «Продукт животного происхождения. Одна единица. Хранение до 08.01.2027».

Я сложила квитанцию вчетверо. И положила в бюстгальтер. В кармашек. Рядом с долларами.

Самое надёжное место. Туда даже фашист не полезет.

Айгерим проводила нас до выхода. До самых дверей. Шла рядом. Катила наш чемодан — сама предложила.

У дверей остановилась.

— Апа, — сказала она. — А можно — спросить?

— Спрашивай, деточка.

— Вы к кому прилетели?

— К дочке, — сказала я. — Светочке. Она тут директор. По мероприятиям. В гостинице.

— Я помолчала. — И у неё — жених. Мы знакомиться.

Айгерим улыбнулась.

— Апа, — сказала она. — У меня мама такая же. В Шымкенте. — Пауза. — Она мне тоже на Новый год казы хотела привезти. Конскую колбасу. Я ей сказала — мама, не вези, отберут. А она всё равно везла. Отобрали.

— А она?

— А она сказала — «ну и пусть, зато я тебя увидела».

Айгерим наклонилась. И быстро обняла меня. Крепко. По-нашему.

— С Новым годом, апа, — сказала она.

И ушла.

Обратно. В аэропорт. Катя пустую тележку.

А я стояла у дверей. С квитанцией в бюстгальтере.

И думала, что за один вечер в Дубае меня назвали «мамой» два раза. Араб на паспортном контроле. И казашка с таможни.

А до этого — двенадцать лет — только Светочка.

По телефону.

С горки.

* * *

Двери раздвинулись.

Сами. Как в самолётном кране.

И — зал.

Огромный. Светлый. Полный людей. Встречающих. С табличками. С цветами. С воздушными шарами. Мужчины в белом. Женщины в чёрном. Туристы. Водители в костюмах — с табличками, на которых написаны чьи-то фамилии.

И среди них — она.

Светочка.

В белом платье. Лёгком. До колен. С голыми плечами — я сразу подумала: «плечи закрой, тут арабы», — и тут же забыла. Загорелая. Волосы — светлые, длинные, распущенные. Как у русалки.

В руках — табличка. Картонная. Самодельная. Фломастером. Кривыми буквами. С сердечками.

«МАМА И ПАПА».

Она нас увидела.

Табличка выпала.

Я не помню, как бежала. Я не помню, как бросила сумку-холодильник. Я не помню, как кричала. Я помню только, что Светочка бежала тоже — навстречу, через весь зал, в белом платье, — и мы столкнулись посередине. Как два поезда.

Двенадцать лет.

Двенадцать.

Она пахла — морем. Солнцем. Какими-то духами, дорогими, нежными. И — под ними — Светочкой. Моей. Той, маленькой. Которую я мазала зелёнкой и дула на коленку.

Я держала её. Крепко. Как держат утопающих. Как Коля — баян.

Она держала меня.

Мы плакали обе. В голос. Посреди аэропорта Дубая. Люди обходили нас. Кто-то улыбался. Кто-то фотографировал.

Мне было всё равно.

* * *

А потом сзади подошёл Коля.

С красным чемоданом. С баяном. С сумкой-холодильником — подобрал.

Остановился.

Светочка подняла голову. С моего плеча. Мокрая. Вся в туши.

— Папа, — сказала она.

Коля смотрел на неё.

Долго.

Я его таким не видела никогда.

Губы у него дрожали. Под усами. Я видела. Я сорок лет его вижу.

— Ну, — сказал Коля.

И Светочка — отпустила меня. И шагнула к нему. И обняла. Обеими руками. За шею. Как в пять лет. Повисла.

Коля поставил чемодан. Поставил сумку.

Баян — не снял.

Обнял её. Одной рукой. Вокруг спины. Огромной своей ладонью — по светлым волосам. Как гладил её, когда ей было три и она потерялась на ярмарке.

Ничего не сказал.

Не надо было.

* * *

— Мам, — сказала Светочка. Потом. Когда отлипла от Коли. Вытирая тушь со щёк. — Мам, пап. Я... Я хочу вас познакомить.

Она обернулась.

Сзади. В трёх шагах. Стоял мужчина.

Высокий. Не как Коля — Коля длинный, а этот — широкий. Плечи — как дверь в сарай. Загорелый — по-настоящему, не по-туристски. Борода — короткая, тёмная, с проседью. Волосы — тоже с проседью. Глаза — светлые. Серо-голубые. Как Кочка в марте, когда лёд сходит.

В белой рубашке. Явно новой — складки ещё не разошлись. Рукава — закатаны. Руки — огромные. В мозолях. В шрамах. В солнечных пятнах.

В руках — цветы.

Розы. Красные. Большой букет. Держит — как будто это лом. Или весло. Неудобно. Неумело.

— Мам, пап, — сказала Светочка. — Это — мой жених.

Мужчина шагнул вперёд.

Протянул мне розы.

— Здравствуйте, Галина Петровна, — сказал он. Голос — низкий, с хрипотцой. — С приездом.

Я взяла розы.

Посмотрела на него.

Он — на меня.

— А вы, — сказала я, — Дмитрий?

Тишина.

Светочка за моим плечом — я почувствовала — перестала дышать.

Мужчина смотрел на меня. Спокойно. Прямо.

— Алексей, — сказал он.

* * *

Светочка заговорила сразу. Быстро-быстро. Как в детстве, когда объясняла, куда делась клубника.

— Мам, это... мам, понимаешь, это так получилось, он — Дмитрий, ну, по документам, для бизнеса, по-английски, ну, там, тут всех по-английски, а по-русски — Алексей, ну, то есть дома — Лёша, все зовут Лёша, я просто тебе сказала — Дмитрий, потому что — ну, так официально, а на самом деле...

— Светочка, — сказала я.

Светочка замолчала.

Я смотрела на мужчину.

Сорок лет фельдшером. Сорок лет замужем.

Я вижу, когда мужик врёт.

Этот — не врал. Он сказал — «Алексей». И всё. И — замолчал. И смотрел на меня. Прямо. Не отводя глаз. Не краснея ушами. Не переминаясь.

Врала — Светочка.

У неё уши горели так, что можно было прикуривать.

Я посмотрела на неё. На него.

— Ну-ну, — сказала я.

И понюхала розы.

Розы пахли — розами.

А от мужчины пахло — морем. Солёным, настоящим. Бензином — машинным. Краской — свежей. И рыбой.

Рыбой.

— Бизнесмен, говоришь? — сказала я Светочке.

— Да, мам. Он... у него... рыбный бизнес.

Мужчина рядом со мной — я видела — чуть-чуть, самую малость, дёрнул уголком рта. Под бородой.

— Рыбный, — повторила я.

— Рыбный, — сказала Светочка.

Коля стоял сзади. Молча. С баяном.

Смотрел на мужчину.

Не на лицо. На руки.

Долго.

Мужчина заметил. Повернулся к Коле. Протянул руку.

— Николай Иванович, — сказал он. — Алексей. Громов.

Коля посмотрел на протянутую руку. На мозоли. На шрамы. На солнечные пятна.

Пожал.

Крепко. Я видела — крепко. Коля всегда так жмёт — проверяет. Если мужик морщится — значит, слабак. Если не морщится — значит, свой.

Мужчина не поморщился.

Коля держал его руку. Секунду. Две. Три.

— Рыбак? — сказал Коля.

— Рыбак, — сказал мужчина.

— Море?

— Море.

— Ну, — сказал Коля.

И отпустил.

* * *

А потом мужчина посмотрел на баян.

На футляр у Коли на плече. Чёрный. Потёртый. С ремнями.

— Можно? — сказал он.

Коля замер.

Я замерла.

Никто — никогда — не носил Колин баян. Ни разу. Сорок пять лет. Даже я. Даже Светочка. Светочка в семь лет попробовала поднять — Коля так на неё посмотрел, что она потом неделю к футляру не подходила.

Коля смотрел на мужчину.

Мужчина ждал. Не тянул руки. Просто — ждал.

И Коля — я не поверила — медленно снял ремень с плеча.

И отдал.

Мужчина взял баян. Обеими руками. Под низ. Как ребёнка. Как взял бы новорождённого, если бы ему дали.

Бережно.

Повесил на своё плечо.

Поправил ремень. Чтобы не тёрло.

И посмотрел на Колю. Мол — так?

Коля смотрел на него.

Потом — кивнул.

Один раз.

* * *

Мы шли к машине.

Светочка — впереди. С моей сумкой. Говорила что-то, быстро, весело, про квартиру, про тридцать первый этаж, про то, что у неё — балкон, и с балкона — море.

Коля — за ней. С красным чемоданом.

Мужчина — Алексей, Лёша, Дмитрий, не знаю, — рядом с Колей. С баяном на плече. С сумкой-холодильником в руке. Молча.

А я — сзади. С розами.

Смотрела им в спины.

Я сорок лет замужем. Я вижу, когда мужик врёт.

Этот — не врал.

Он сказал «Алексей» — и это была правда. Он сказал «рыбак» — и это была правда.
Врала — Светочка.

Значит — что-то тут не так. Значит — никакой он не Дмитрий. И никакой не бизнесмен.
И, может быть, никакой не жених.

Я это поняла — в первую же минуту.

Только почему тогда, думала я, глядя на его широкую спину, он несёт Колин баян, как ребёнка?

И почему на мою Светочку — когда она обернулась к нам через плечо и засмеялась — он посмотрел так, как Коля смотрел на меня в восемьдесят шестом году? С берега Кочки?

Когда я была в синем купальнике с белыми горошинами?

И делала вид, что не вижу.

Часть вторая. Галина Петровна покоряет Дубай

Глава 6. Света.

В которой мама просыпается раньше солнца

Мама проснулась в пять ноль-ноль.

Я знаю, потому что проснулась тоже. От крика.

— Света! Светочка! Вставай! Пожар?!

Я вылетела из спальни. В пижаме. С маской для сна на лбу. Босиком. Сердце — в горле.

Мама стояла посреди гостиной. В ночной рубашке — фланелевой, в мелкий цветочек, до пят, я её помню с детства, она её, наверное, с девяностых носит. Волосы — рыжие, в бигуди. Бигуди! Она привезла бигуди! Глаза — круглые.

Она показывала на окно.

На балконную дверь. Стекланную. Во всю стену.

За дверью было — темно. Ещё. Только-только начинало сереть над морем. Огни Марины — тысячи окон в небоскрёбах напротив — горели, как ёлочные гирлянды.

А сквозь стекло — слышно было.

Голос.

Мужской. Протяжный. Высокий. Он лился откуда-то снизу, издалека, плыл над Мариной, над водой, над небоскрёбами, поднимался вверх, к нашему тридцать первому этажу, — медленный, певучий, на одной ноте, потом выше, потом ниже, как волна.

— Аллаху акбар...

И — с другой стороны — второй голос. Из другой мечети. Подхватил. Тоже протяжно. Чуть позже. Как эхо.

И — третий. Совсем далеко.

— Это что? — сказала мама. Шёпотом. — Светочка. Это что? Кто это поёт в пять утра? Я выдохнула.

— Мам. Это — азан.

— Что?

— Азан. Призыв на молитву. Тут — мечети. Пять раз в день. Первый — на рассвете.

Мама смотрела на меня.

Потом — на окно.

Голос за стеклом пел. Медленно. Красиво. Над тысячей огней.

— На молитву, — повторила мама.

— На молитву.

— В пять утра.

— Ну, на рассвете. Тут рано светает.

Мама помолчала.

Потом подошла к балконной двери. Медленно. Положила ладонь на стекло.

— Как у нас, — сказала она. Тихо.

— Что — как у нас?

— Отец Сергей, — сказала мама. — Колокол. В шесть утра. Каждое воскресенье. Я сорок лет просыпаюсь. — Она смотрела в окно. — Я сначала подумала — петух. Потом подумала — пожар. А это — как у нас.

Голос за стеклом допел.

Тишина.

Только кондиционер гудел. И где-то внизу — по проспекту — проехала машина.

Мама постояла ещё у окна.

Потом повернулась ко мне.

— Ну всё, — сказала она. Бодро. Совсем другим голосом. — Раз встали — будем борщ варить.

* * *

Я пыталась её отговорить.

Честно. Я сказала — «мам, пять утра». Мама сказала — «самое время, к обеду упреемся». Я сказала — «мам, вы с дороги, отдохните». Мама сказала — «я сорок лет в пять встаю, я в самолёте выпалась». Я сказала — «мам, у меня нет свёклы».

Мама остановилась.

— Как — нет свёклы?

— Нет, мам. Я не варю борщ.

Мама посмотрела на меня. Так, как будто я сказала, что не дышу.

— А что ты варишь?

— Я... я не варю, мам. Я — заказываю. Или ем на работе. У нас в отеле — шеф-повар. Французский.

Мама молчала.

Потом подошла к холодильнику.

Открыла.

Я знала, что там. Я знала — и мне стало страшно.

Там было: авокадо — три штуки. Миндальное молоко. Греческий йогурт — обезжиренный. Капуста кейл — в пакете. Хумус. Салат руккола. Бутылка белого вина — початая. Четыре бутылки воды. Банка оливок. Лимон — один, засохший. И — всё.

Мама смотрела в холодильник.

Долго.

Взяла авокадо. Посмотрела. Понюхала. Положила обратно.

Взяла миндальное молоко. Прочитала — по-английски — не поняла. Потрясла.

— Это что? — сказала мама.

— Молоко, мам. Миндальное.

— Из чего?

— Из миндаля.

— Миндаль — доят?

— Мам...

Мама положила молоко обратно. Взяла кейл. Посмотрела на тёмно-зелёные курчавые листья.

— Это — капуста?

— Капуста, мам. Кейл. Это полезно. Суперфуд.

— Её — едят?

— В смузи. Ну, в коктейль. Перемалывают в блендере и пьют.

Мама долго смотрела на кейл.

Потом закрыла холодильник.

Повернулась ко мне.

— Светочка, — сказала она. Очень тихо. Очень серьёзно. — Тебя тут что — не кормят?

* * *

В пять сорок мама уже стояла у лифта.

В кофте поверх ночной рубашки. В тапочках. В платке бабки Нюры — на голове, «чтобы не обижать». С кошельком.

С долларами.

— Мам, — сказала я. — Мам, давай я сама схожу. Потом. В восемь.

— В восемь — поздно, — сказала мама. — Борщ к обеду не успеет.

— Мам, ты не знаешь английского. Ты не знаешь, где магазин. У тебя нет дирхамов.

— У меня есть доллары, — сказала мама. — И язык. Мне Айгерим сказала — тут все по-русски понимают. Хоть чуть-чуть.

— Мам, Айгерим — из Казахстана!

Лифт пришёл. Дзынь.

Двери раскрылись.

Мама шагнула внутрь.

Посмотрела на кнопки. Их было — сорок восемь. Плюс «G». Плюс «P1», «P2», «P3» — парковка. Плюс «R» — крыша. Плюс бассейн.

Мама посмотрела на кнопки. На меня.

— Где тут «первый»? — спросила она.

Я вздохнула.

Вошла в лифт. В пижаме. С маской для сна на лбу.

Нажала «G».

— Это — «граунд», мам, — сказала я. — Первый этаж.

— «Граунд», — повторила мама. — Это как «гараж»?

— Почти.

Двери закрылись.

Лифт поехал вниз.

Тридцать один этаж. Двадцать секунд. Уши заложило.

Мама держалась за поручень.

— Светочка, — сказала она. — Хорошо, что папа спит. Он бы этот лифт... — Она не договорила.

— Я знаю, мам.

— Как он вчера-то поднимался? Я не помню. Я так устала...

Я помнила.

Вчера, в полночь, когда мы приехали, папа увидел лифт. Остановился. Посмотрел на табличку — «31». Посмотрел на меня.

И сказал: «Пешком».

Тридцать один этаж. Пешком. В валенках. С баяном. В час ночи.

Его отговорил Лёша.

Я не знаю как. Я видела только, что Лёша подошёл к папе, сказал ему что-то тихо — я не расслышала — и папа помолчал, посмотрел на него, а потом вошёл в лифт. Встал в угол. Закрыв глаза. Взял баян обеими руками.

И Лёша — встал рядом. Близко. Плечом к плечу.

Двадцать секунд.

На тридцать первом этаже папа открыл глаза. Вышел. Ничего не сказал.

Лёше — кивнул.

Потом, когда я вышла проводить Лёшу до его двери — через коридор, два шага, — я спросила: «Что ты ему сказал?»

Лёша сказал: «Сказал, что на флоте в подлодке — сто метров под водой и три месяца без окон. И что я там двенадцать лет. И что лифт — это двадцать секунд. И что если ему станет плохо — я рядом».

Я сказала: «И всё?»

Лёша сказал: «И всё».

И закрыл дверь.

* * *

Внизу, в лобби, сидел Раджеш.

Раджеш — наш консьерж. Охранник. Портье. Всё сразу. Он сидит за стойкой из чёрного мрамора, в синей форме с золотыми пуговицами, днём и ночью. Ну — не днём и ночью. Двенадцать через двенадцать. Он из Кералы. Это на юге Индии. У него там жена и трое детей. Он отправляет им деньги. Он здесь — девять лет.

Он маленький, смуглый, с огромными тёмными глазами и с усами — аккуратными, тонкими, как у артиста из старого кино.

Он кашлял.

Я это слышала ещё из лифта. Сухой, лающий кашель. Раджеш кашлял третью неделю. Я ему говорила — сходи к врачу. Он говорил — «да-да, мадам, завтра». Завтра не наступало. Врач тут — дорого. Страховка у Раджеша — какая-то самая простая, только на «скорую».

Двери лифта открылись.

Раджеш поднял голову. Перестал кашлять. Увидел меня — в пижаме. Увидел маму — в ночной рубашке, в кофте, в тапочках и в оренбургском платке.

Встал.

— Гуд морнинг, мадам Света, — сказал он. Вежливо. И посмотрел на маму. — Гуд морнинг... мадам?

— Это моя мама, Раджеш, — сказала я. — Мама, это — Раджеш. Он здесь — охранник. Мама посмотрела на Раджеша.

Раджеш — на маму.

И тут он закашлялся.

Опять. Сильно. Согнулся над стойкой. Закрыл рот рукой.

Мама — изменилась в лице.

Я это видела. Я с детства это вижу. Когда мама в деревне идёт по улице и слышит, как кто-нибудь кашляет за забором, — у неё лицо становится такое. Как у охотничьей собаки, которая учуяла утку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.